

Николай Островский



# Как закалялась сталь

Николай Островский  
**Как закалялась сталь**

«ИТРК»

1933–1934

**Островский Н. А.**

Как закалялась сталь / Н. А. Островский — «ИТРК», 1933–1934

ISBN 5-88010-211-4

Уважаемый читатель, издательство предлагает вам книгу «Как закалялась сталь», много раз издаваемую в нашей стране в советский период, переведенную и изданную на разных языках народов мира во многих странах. Это была одна из любимейших книг солдат Великой отечественной войны, которая способствовала проявлению воли и мужества на фронтах войны. В ней правдиво описана жизнь героического поколения в период становления советской власти. Представленные события исторически достоверны. Исключительное отличие этой книги состоит в том, что, по существу, автор пишет о себе, о своей жизни, которую можно назвать как жизнь-подвиг. Роман «Как закалялась сталь» светел, исповедален и поныне обладает особой возвышающей, исцеляющей, побуждающей нравственной силой. Подвиг героя романа Павки Корчагина раскрыт читателю в произведении, для которого не властно время.

ISBN 5-88010-211-4

© Островский Н. А., 1933–1934

© ИТРК, 1933–1934

## Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	14
Глава третья	24
Глава четвертая	38
Глава пятая	47
Глава шестая	56
Конец ознакомительного фрагмента.	60

# Николай Островский

## Как закалялась сталь

### Часть первая

#### Глава первая

– Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок – встаньте!  
Обрюзглый человек в рясе, с тяжелым крестом на шее, угрожающе посмотрел на учеников.

Маленькие злые глазки точно прокалывали всех шестерых, поднявшихся со скамеек, – четырех мальчиков и двух девочек. Дети боязливо посматривали на человека в рясе.

– Вы садитесь, – махнул поп в сторону девочек. Те быстро сели, облегченно вздохнув.

Глазки отца Василия сосредоточились на четырех фигурках.

– Идите-ка сюда, голубчики!

Отец Василий поднялся, отодвинул стул и подошел вплотную к сбившимся в кучу ребятам:

– Кто из вас, подлецов, курит? Все четверо тихо ответили:

– Мы не курим, батюшка. Лицо попа побагровело.

– Не курите, мерзавцы, а махорку кто в тесто насыпал? Не курите? А вот мы сейчас посмотрим! Выверните карманы! Ну, живо! Что я вам говорю? Выворачивайте!

Трое начали вынимать содержимое своих карманов на стол.

Поп внимательно просматривал швы, ища следы табака, но не нашел ничего и принялся за четвертого, черноглазого, в серенькой рубашке и синих штанах с заплатами на коленях.

– А ты что, как истукан, стоишь?

Черноглазый, глядя с затаенной ненавистью, глухо ответил:

– У меня нет карманов, – и провел руками по зашитым швам.

– А-а-а, нет карманов? Так ты думаешь, я не знаю, кто мог сделать такую подлость – испортить тесто! Ты думаешь, что и теперь останешься в школе? Нет, голубчик, это тебе даром не пройдет. В прошлый раз только твоя мать упростила оставить тебя, ну, а теперь уж конец. Марш из класса! – Он больно схватил за ухо и вышвырнул мальчишку в коридор, закрыв за ним дверь.

Класс затих, съежился. Никто не понимал, почему Павку Корчагина выгнали из школы. Только Сережка Брузжак, друг и приятель Павки, видел, как Павка насыпал попу в пасхальное тесто горсть махры там, на кухне, где ожидали попа шестеро неуспевающих учеников. Им пришлось отвечать уроки уже на квартире у попа.

Выгнанный Павка присел на последней ступеньке крыльца. Он думал о том, как ему явиться домой и что сказать матери, такой заботливой, работающей с утра до поздней ночи кухаркой у акцизного инспектора.

Павку душили слезы.

«Ну что мне теперь делать? И все из-за этого проклятого попа. И на черта я ему махры насыпал? Сережка подбил. „Давай, говорит, насыпем гадюке вредному“. Вот и всыпали. Сережке ничего, а меня, наверное, выгонят».

Уже давно началась эта вражда с отцом Василием. Как-то подрался Павка с Левчуковым Мишкой, и его оставили «без обеда». Чтобы не шалил в пустом классе, учитель привел шалуна к старшим, во второй класс. Павка уселся на заднюю скамью.

Учитель, сухонький, в черном пиджаке, рассказывал про землю, светила Павка слушал, разинув рот от удивления, что земля уже существует много миллионов лет и что звезды тоже вроде земли. До того был удивлен услышанным, что даже пожелал встать и сказать учителю: «В законе божием не так написано», но побоялся, как бы не влетело.

По закону божью поп всегда ставил Павке пять. Все тропари, Новый и Ветхий завет знал он на зубок; твердо знал, в какой день что произведено богом. Павка решил расспросить отца Василия. На первом же уроке закона, едва поп уселся в кресло, Павка поднял руку и, получив разрешение говорить, встал:

– Батюшка, а почему учитель в старшем классе говорит, что земля миллион лет стоит, а не как в законе божием – пять тыс. – и сразу осел от визгливого крика отца Василия:

– Что ты сказал, мерзавец? Вот ты как учишь слово божие!

Не успел Павка и пикнуть, как поп схватил его за оба уха и начал долбить головой об стенку. Через минуту, избитого и перепуганного, его выбросили в коридор.

Здорово попало Павке и от матери.

На другой день пошла она в школу и упростила отца Василия принять сына обратно. Возненавидел с тех пор попа Павка всем своим существом. Ненавидел и боялся. Никому не прощал он своих маленьких обид; не забывал и попу незаслуженную порку, озлобился, затаился.

Много еще мелких обид перенес мальчик от отца Василия: гонял его поп за дверь, целыми неделями в угол ставил за пустяки и не спрашивал у него ни разу уроков, а перед пасхой из-за этого пришлось ему с неуспевающими к попу на дом идти сдавать. Там, на кухне, и высыпал Павка махры в пасхальное тесто.

Никто не видел, а все же поп сразу узнал, чья это работа.

...Урок окончился, детвора высыпала во двор и обступила Павку. Он хмуро отмалчивался. Сережка Брузжак из класса не выходил, чувствовал, что и он виноват, но помочь товарищу ничем не мог.

В открытое окно учительской высунулась голова заведующего школой Ефрема Васильевича, и густой бас его заставил Павку вздрогнуть.

– Пошлите сейчас же ко мне Корчагина! – крикнул он. И Павка с заколотившимся сердцем пошел в учительскую.

Хозяин станционного буфета, пожилой, бледный, с бесцветными, вылинявшими глазами, мельком взглянул на стоявшего в стороне Павку:

– Сколько ему лет?

– Двенадцать, – ответила мать.

– Что же, пусть останется. Условие такое: восемь рублей в месяц, и стол в дни работы, сутки работать, сутки дома – и чтоб не воровать.

– Что вы, что вы! Воровать он не будет, я ручаюсь, – испуганно сказала мать.

– Ну, пусть начинает сегодня же работать, – приказал хозяин и, обернувшись к стоящей рядом с ним за стойкой продавщице, попросил: – Зина, отведи мальчика в судомойню, скажи Фросеньке, чтобы дала ему работу вместо Гришки.

Продавщица бросила нож, которым резала ветчину, и, кивнув Павке головой, пошла через зал, пробираясь к боковой двери, ведущей в судомойню. Павка последовал за ней. Мать торопливо шла вместе с ним, шепча ему наспех:

– Ты уж, Павлуша, постарайся, не срамись.

И, проводив сына грустным взглядом, пошла к выходу.

В судомойне шла работа вовсю: гора тарелок, вилок, ножей высилась на столе, и несколько женщин перетирали их перекинутыми через плечо полотенцами.

Рыженький мальчик с всклокоченными, нечесаными волосами, чуть старше Павки, возился с двумя огромными самоварами.

Судомойня была наполнена паром из большой лохани с кипятком, где мылась посуда, и Павка первое время не мог разобрать лиц работавших женщин. Он стоял, не зная, что ему делать и куда приткнуться.

Продавщица Зина подошла к одной из моющих посуду женщин и, взяв ее за плечо, сказала:

– Вот, Фросенька, новый мальчик вам сюда вместо Гришки. Ты ему растолкуй, что надо делать.

Обращаясь к Павке и указав на женщину, которую только что назвала Фросенькой, Зина проговорила:

– Она здесь старшая. Что она тебе скажет, то и делай. – Повернулась и пошла в буфет.

– Хорошо, – тихо ответил Павка и вопросительно взглянул на стоявшую перед ним Фросю.

Та, вытирая пот со лба, глядела на него сверху вниз, как бы оценивая его достоинства, и, подвертывая сползавший с локтя рукав, сказала удивительно приятным, грудным голосом:

– Дело твое, милай, маленькое: вот этот куб нагреешь, значит, утречком, и чтоб в нем у тебя всегда кипяток был, дрова, конечно, чтобы наколот, потом вот эти самовары тоже твоя работа. Потом, когда нужно, ножики и вилочки чистить будешь и помои таскать. Работки хватит, милай, упаришься, – говорила она костромским говорком, с ударением на «а», и от этого ее говорка и залитого краской лица с курносым носиком Павке стало как-то веселее.

«Тетка эта, видно, ничего», – решил он про себя и, осмелев, обратился к Фросе:

– А что мне сейчас делать, тетя?

Сказал и запнулся. Громкий хохот работавших в судомойне женщин покрыл его последние слова:

– Ха-ха-ха!.. У Фросеньки уж и племянник завелся...

– Ха-ха!.. – смеялась больше всех сама Фрося.

Павка из-за пара не разглядел ее лица, а Фросе всего было восемнадцать лет.

Уже совсем смущенный, он повернулся к мальчику и спросил:

– Что мне делать надо сейчас?

Но мальчик на вопрос только хихикнул:

– Ты у тети спроси, она тебе все пропечатает, а я здесь временно. – И, повернувшись, выскочил в дверь, ведущую на кухню.

– Иди сюда, помогай вытирать вилки, – услышал Павка голос одной из работающих, уже немолодой судомойки. – Чего ржете-то? Что тут такого мальчонка сказал? Вот бери-ка, – подала она Павке полотенце, – бери один конец в зубы, а другой натяни ребром. Вот вилочку и чисть туда-сюда зубчиками, только чтоб ни соринки не оставалось. У нас за это строго. Господа вилки просматривают, и если заметят грязь – беда: хозяйка в три счета прогонит.

– Как – хозяйка? – не понял Павел. – Ведь у вас хозяин тот, что меня принимал.

Судомойка засмеялась:

– Хозяин у нас, сынок, вроде мебели, тюфяк он. Всему голова здесь хозяйка. Ее сегодня нет. Вот поработаешь – увидишь.

Дверь в судомойню открылась, и в нее вошли трое официантов, неся груды грязной посуды.

Один из них, широкоплечий, косоглазый, с крупным четырехугольным лицом, сказал:

– Пошевеливайтесь живее. Сейчас придет двенадцатичасовой, а вы копаетесь.

Глядя на Павку, он спросил:

– А это кто?

– Это новенький, – ответила Фрося.

– А, новенький, – проговорил он. – Ну, так вот, – тяжелая рука его опустилась на плечо Павки и толкнула к самоварам, – они у тебя всегда должны быть готовы, а они, видишь: один

затух, а другой еле дышит. Сегодня это тебе так пройдет, а завтра если повторится, то получишь по морде. Понял?

Павка, не говоря ни слова, принялся за самовары.

Так началась его трудовая жизнь. Никогда Павка не старался так, как в свой первый рабочий день. Понял он: тут – не дома, где можно мать не послушать. Косоглазый ясно сказал, что, если не слушаешь, – в морду.

Разлетались искры из толстопузых четырехведерных самоваров, когда Павка раздувал их, натянув снятый сапог на трубу. Хватаясь за ведра с помоями, летел к сливной яме, подкладывал под куб с водой дрова, сушил на кипящих самоварах мокрые полотенца, делая все, что ему говорили. Поздно вечером уставший Павка отправился вниз, на кухню. Пожилая судомойка Анисья, посмотрев на дверь, скрывшую Павку, сказала:

– Ишь, мальчонка-то какой-то ненормальный, мотается как сумасшедший. Не с добра, видно, послали работать-то.

– Да, парень справный, – сказала Фрося, – такого подгонять не надо.

– Убегается скоро, – возразила Луша, – все сначала стараются...

В семь часов утра, измученный бессонной ночью и бесконечной беготней, Павка передал кипящие самовары своей смене – толстомордённому мальчишке с нахальными глазками.

Удостоверившись, что все в порядке и самовары кипят, мальчишка, засунув руки в карманы, цыкнув сквозь сжатые зубы слюной и с видом презрительного превосходства взглянув на Павку слегка белесоватыми глазами, сказал тоном, не допускающим возражения:

– Эй ты, шляпа! Завтра приходи в шесть часов на смену.

– Почему в шесть? – спросил Павка. – Ведь сменяются в семь.

– Кто сменяется, пусть сменяется, а ты приходи в шесть. А будешь много гавкать, то фазу поставлю тебе блямбу на фотографию. Подумаешь, пешка, только что поступил и уже форс давит.

Судомойки, сдавшие свое дежурство вновь прибывшим, с интересом наблюдали за разговором двух мальчишек. Нахальный тон и вызывающее поведение мальчишки разозлили Павку. Он подвинулся на шаг к своей смене, приготовясь вклеить мальчишке хорошего леща, но боязнь быть прогнанным в первый же день работы остановила его. Весь потемнев, он сказал:

– Ты потише, не налетай, а то обожжешься. Завтра приду в семь, а драться я умею не хуже тебя; если захочешь попробовать – пожалуйста.

Противник отодвинулся на шаг к кубу и с удивлением смотрел на взъерошенного Павку. Такого категорического отпора он не ожидал и немного опешил.

– Ну ладно, посмотрим, – пробормотал он.

Первый день прошел благополучно, и Павка шагал домой с чувством человека, честно заработавшего свой отдых. Теперь он тоже трудится, и никто теперь не скажет ему, что он дармоед.

Утреннее солнце лениво подымалось из-за громады лесопильного завода. Скоро и Павкин домишко покажется. Вот здесь, сейчас же за усадьбой Лещинского.

«Мать, наверное, не спит, а я с работы возвращаюсь, – думал Павка и пошел быстрее, посвистывая. – Получилось не так уж скверно, что меня из школы выперли. Все равно проклятый поп не дал бы житья, а теперь я на него плевать хотел, – рассуждал Павка, подходя к дому, и, открывая калитку, вспомнил: – Атому, белобрысому, обязательно набью морду, обязательно».

Мать возилась во дворе с самоваром. Увидев сына, спросила тревожно:

– Ну как?

– Хорошо, – ответил Павка.

Мать хотела о чем-то предупредить. Он понял – в раскрытое окно комнаты виднелась широкая спина брата Артема.

– Что, Артем приехал? – спросил он, смутившись.

– Вчера приехал и останется здесь. Служить будет в депо.

Павка не совсем уверенно открыл дверь в комнату.

Громадная фигура, сидевшая за столом спиной к нему, повернулась, и на Павку глянули из-под густых черных бровей суровые глаза брата.

– А, пришел, махорочник? Ну, ну, здорово!

Не предвещала Павке ничего приятного беседа с приехавшим братом.

«Артем уже все знает, – подумал Павка. – Артем может и отругать и поколотить».

Побаивался Павлик Артема.

Но Артем, видно, драться не собирался; он сидел на табурете, опершись локтями о стол, и смотрел на Павку неотрываемым взглядом – не то насмешливо, не то презрительно.

– Так ты, говоришь, университет уже закончил, все науки прошел, теперь за помой при-  
нялся? – сказал Артем.

Павка уставился глазами в потрескавшуюся половицу, внимательно изучая высунувшуюся шляпку гвоздика. Но Артем поднялся из-за стола и пошел в кухню.

«Обойдется, видно, без припарки», – облегченно вздохнул Павка.

Во время чаепития Артем спокойно расспрашивал Павку о происшедшем в классе.

Павка рассказал все.

– И что с тобой будет дальше, когда ты таким хулиганом растешь? – с грустью проговорила мать. – Ну, что нам с ним делать? И в кого он такой уродился? Господи боже мой, сколько я мучений с этим мальчишкой перенесла! – жаловалась она.

Артем, отодвинув от себя пустую чашку, сказал, обращаясь к Павке:

– Ну, так вот, браток. Раз уж так случилось, держись теперь настороже, на работе фокусов не выкидывай, а выполняй все, что надо; ежели и оттуда тебя выставят, то я тебя так раз-  
рисую, что дальше некуда. Запомни это. Довольно мать дергать. Куда, черт, ни ткнется – везде недоразумение, везде чего-нибудь отчебучит. Но теперь уж шабаш. Отработаешь годок – буду просить взять учеником в депо, потому в тех помоях человека из тебя не будет. Надо учиться ремеслу. Сейчас еще мал, но через год попрошу – может, примут. Я сюда перевожусь и здесь работать буду. Мамка служить больше не будет. Хватит ей горб гнуть перед всякой сволочью, но ты смотри, Павка, будь человеком.

Он поднялся во весь свой громадный рост, надел висевший на спинке стула пиджак и бросил матери:

– Я пойду по делу на часок. – И, согнувшись у притолоки двери, вышел.

Уже во дворе, проходя мимо окна, сказал:

– Там тебе привез сапоги и ножик, мамка даст.

Буфет вокзала торговал беспрерывно целые сутки.

Железнодорожный узел соединял пять линий. Вокзал плотно был набит людьми и только на два-три часа ночью, в перерыв между двумя поездами, затихал. Здесь, на вокзале, сходились и разбегались в разные стороны сотни эшелонов. С фронта на фронт. Оттуда с искалеченными, с искромсанными людьми, а туда с потоком новых людей в серых однообразных шинелях.

Два года провертелся Павка на этой работе. Кухня и судомойня – вот все, что он видел за эти два года. В громадной подвальной кухне – лихорадочная работа. Работало двадцать с лишним человек. Десять официантов сновали из буфета в кухню.

Получал уже Павка не восемь, а десять рублей. Вырос за два года, окреп. Много мытарств прошел он за это время. Коптился в кухне полгода поваренком, вылетел опять в судомойню – выбросил всесильный шеф: не понравился несговорчивый мальчонка, того и жди, что пырнет ножом за зуботычину. Давно бы уже прогнали за это с работы, но спасала его неиссякаемая трудоспособность. Работать мог Павка больше всех, не уставая.

В горячие для буфета часы носился как угорелый с подносами, прыгая через четыре-пять ступенек вниз, в кухню, и обратно.

Ночами, когда прекращалась толкотня в обоих залах буфета, внизу, в кладовушках кухни, собирались официанты. Начиналась бесшабашная азартная игра: в «очко», в «девятку». Видел Павка не раз кредитки, лежавшие на столах. Не удивлялся Павка такому количеству денег, знал, что каждый из них за сутки своего дежурства чаевыми получал по тридцать – сорок рублей. По полтинничку, по рублику собирали. А потом напивались и резались в карты. Злобился на них Павка.

«Сволочь проклятая! – думал он. – Вот Артем – слесарь первой руки, а получает сорок восемь рублей, а я – десять; они гребут в сутки столько – и за что? Поднесет – унесет. Пропивают и проигрывают».

Считал их Павка, так же как хозяев, чужими, враждебными. «Они здесь, подлюги, лакеями ходят, а жены да сыночки по городам живут, как богатые».

Приводили они своих сынков в гимназических мундирчиках, приводили и расплывшихся от довольства жен. «А денег у них, пожалуй, больше, чем у тех господ, которым прислуживают», – думал Павка. Не удивлялся он и тому, что происходило ночами в закоулках кухни да на складах буфетных; знал Павка хорошо, что всякая посудница и продавщица недолго наработает в буфете, если не продаст себя за несколько рублей каждому, кто имел здесь власть и силу.

Заглянул Павка в самую глубину жизни, на ее дно, в колодезь, и затхлой плесенью, болотной сыростью пахнуло на него, жадного ко всему новому, неизведанному.

Не удалось Артему устроить брата учеником в депо: моложе пятнадцати лет не брали. Ожидал Павка дня, когда выйдет отсюда, тянуло к огромному каменному закопченному зданию.

Частенько бывал он там у Артема, ходил с ним осматривать вагоны и старался чем-нибудь помочь.

Особенно скучно стало, когда ушла с работы Фрося.

Не было уже смеющейся, веселой девушки, и Павка острее почувствовал, как крепко он сдружился с ней. Приходя утром в судомойню, слушая сварливые крики беженков, ощущал какую-то пустоту и одиночество.

В ночной перерыв, подкладывая в топку куба дрова, Павка присел на корточках перед открытой дверцей; прищурившись, смотрел на огонь – хорошо было от теплоты печки. В судомойне никого не было.

Не заметил, как мысли вернулись к тому, что было недавно, к Фросе, и отчетливо всплыла картина.

...В субботу, в ночной перерыв, спускался Павка вниз по лестнице, в кухню. На повороте из любопытства влез на дрова, чтобы заглянуть в кладовушку, где обычно собирались игроки.

А игра там была в полном разгаре. Побуревший от волнения Заливанов держал банк.

На лестнице послышались шаги. Овернулся: сверху спускался Прохошка. Павка залез под лестницу, пережидая, когда тот пройдет в кухню. Под лестницей было темно, и Прохошка видеть его не мог.

Прохошка повернул вниз, и Павке было видно его широкую спину и большую голову.

Сверху по лестнице еще кто-то сбегал поспешными, легкими шагами, и Павка услышал знакомый голос:

– Прохошка, подожди.

Прохошка остановился и, обернувшись, посмотрел вверх.

– Тебе чего? – буркнул он.

Шаги на лестнице застучали вниз, и Павка узнал Фросю. Она взяла официанта за рукав и прерывающимся, сдавленным голосом сказала:

– Прохошка, где же те деньги, которые тебе дал поручик? Прохор резко отдернул руку.

– Что? Деньги? А разве я тебе не дал? – говорил он озлобленно-резко.

– Но ведь он дал тебе триста рублей. – И в голосе Фроси слышались приглушенные рыдания.

– Триста рублей, говоришь? – ехидно проговорил Прохошка. – Что же, ты хочешь их получить? Не больно ли дорого, сударынька, для судомойки? Я думаю, хватит и тех пятидесяти, что я дал. Подумаешь, какое счастье! Почище барыньки, с образованием – и то таких денег не берут. Скажи спасибо за это – ночку поспать и пятьдесят целковых схватить. Нет дураков. Десятку-две я тебе еще дам, и кончено, а не будешь дурой – еще подработаешь, я тебе протекцию составлю. – И, бросив последние слова, Прохошка повернулся и пошел в кухню.

– Подлюга, гад! – крикнула ему вдогонку Фрося и, прислонясь к дровам, глухо зарыдала.

Не передать, не рассказать чувств, которые охватили Павку, когда он слушал этот разговор и, стоя в темноте под лестницей, видел вздрагивающую и бьющуюся о поленья головой Фросю. Не сказался Павка, молчал, судорожно ухватившись за чугунные подставки лестницы, а в голове пронеслось и застряло отчетливо, ясно: «И эту продали, проклятые. Эх, Фрося, Фрося!...» Еще глубже и сильнее затаилась ненависть к Прохошке, и все окружающее опостылело и стало ненавистным. «Эх, была бы сила, избил бы этого подлеца до смерти! Почему я не большой и сильный, как Артем?»

Огоньки в печке вспыхивали и гасли, дрожали их красные языки, сплетаясь в длинный голубоватый виток; казалось Павке, что кто-то насмешливый, издевающийся показывает ему свой язык.

Тихо было в комнате, лишь потрескивало в топке, и у крана слышался стук равномерно падающих капель.

Климка, поставив на полку последнюю ярко начищенную кастрюлю, вытирал руки. На кухне никого не было. Дежурный повар и кухонщицы спали в раздевалке. На три ночных часа затихала кухня, и эти часы Климка всегда проводил наверху у Павки. По-хорошему сдружился поваренок с черноглазым кубовщиком. Поднявшись наверх, Климка увидел Павку сидящим на корточках перед раскрытой топкой. Павка заметил на стене тень от знакомой взлохмаченной фигуры и проговорил, не оборачиваясь:

– Садись, Климка.

Поваренок забрался на сложенные поленья и, улегшись на них, посмотрел на сидевшего молча Павку и проговорил, улыбаясь:

– Ты что, на огонь колдуешь?

Павка с трудом оторвал глаза от огненных языков. На Климку смотрели два огромных блестящих глаза. В них Климка увидел невысказанную грусть. Первый раз увидел Климка эту грусть в глазах товарища.

– Чудной ты, Павка, сегодня какой-то... – И, помолчав, затем спросил: – Случилось у тебя что-нибудь?

Павка поднялся и сел рядом с Климкой.

– Ничего не случилось, – ответил он глуховато. – Тяжело мне здесь, Климка. – И руки его, лежавшие на коленях, сжались в кулаки.

– Что это на тебя сегодня нашло? – продолжал приподнявшийся на локтях Климка.

– Сегодня нашло, говоришь? Всегда находило, как только попал сюда работать. Ты погляди, что здесь делается! Работаем, как верблюды, а в благодарность тебя по зубам бьет кто только вздумает, и ни от кого защиты нет. Нас с тобой хозяева нанимали им служить, а бить всякий право имеет, у кого только сила есть. Ведь хоть разорвись, всем сразу не угодишь, а кому не угодишь, от того и получай. Уж так стараешься, чтобы делать как следует, чтобы никто

придаться не мог, кидаешься во все концы, но все равно кому-нибудь не донесли вовремя – и по шее... Климка испуганно перебил его:

– Ты не кричи так, а то зайдет кто – услышит. Павка вскочил:

– Ну и пусть слышат, все равно уйду отсюда! Пути очищать от снега и то лучше, а здесь... могила, жулик на жулике сидит. Денег у них сколько у всех! А нас за тварей считают, с дивчатами что хотят, то и делают; а которая хорошая, не поддается, выгоняют в два счета. Тем куда деваться? Набирают беженков, бесприютных, голодающих. Те за хлеб держатся, тут хоть поесть смогут, и на все идут из-за голода.

Он говорил это с такой злобой, что Климка, опасаясь, что кто-нибудь услышит их разговор, вскочил и закрыл дверь, ведущую в кухню, а Павка все говорил о накипевшем у него на душе:

– Вот ты, Климка, молчишь, когда тебя бьют. Почему молчишь?

Павка сел на табуретку у стола и устало склонил голову на ладонь. Климка наложил в топку дров и тоже сел у стола.

– Читать не будем сегодня? – спросил он Павку.

– Книжки нет, – ответил Павка, – киоск закрыт.

– Что, разве он не торгует сегодня? – удивился Климка.

– Забрали продавца жандармы. Нашли у него что-то, – ответил Павка.

– За что?

– За политику, говорят.

Климка недоуменно посмотрел на Павку:

– А что эта политика означает? Павка пожал плечами:

– Черт его знает! Говорят, ежели кто против царя идет, так политикой зовется.

Климка испуганно дернулся:

– А разве есть такие?

– Не знаю, – ответил Павка.

Дверь открылась, и в судомойню вошла заспанная Глаша:

– Вы это чего не спите, ребятки? На час задремать можно, пока поезда нет. Иди, Павка, я за кубом погляжу.

Кончилась Павкина служба раньше, чем он ожидал, и так кончилась, как он и не предвидел.

В один из морозных январских дней дорабатывал Павка свою смену и собирался уходить домой, но сменявшего его парня не было. Пошел Павка к хозяйке и заявил, что уходит домой, но та не отпускала. Пришлось усталому Павке отстукивать вторые сутки, и к ночи он совсем выбился из сил. В перерыв надо было наливать кубы и кипятить их к трехчасовому поезду.

Отвернул кран Павка – вода не шла. Водокачка, видно, не подала. Оставил кран открытым, улегся на дрова и уснул: усталость одолела.

Через несколько минут забулькал, заурчал кран, и вода полилась в бак, наполнила его до краев и потекла по кафельным плитам на пол судомойни, в которой, как обычно, никого не было. Воды наливалось все больше и больше. Она залила пол и просочилась под дверь в зал.

Ручейки подбирались под вещи и чемоданы спящих пассажиров. Никто этого не замечал, и, только когда вода залила лежавшего на полу пассажира и тот, вскочив на ноги, закричал, все бросились к вещам. Поднялась суматоха.

А вода все прибывала и прибывала.

Убиравший со стола во втором зале Прохошка кинулся на крик пассажиров и, прыгая через лужи, подбежал к двери и с силой распахнул ее. Вода, сдерживаемая дверью, потоком хлынула в зал.

Крики усилились. В судомойню вбежали дежурные официанты. Прохошка бросился к спящему Павке.

Удары один за другим сыпались на голову совершенно одуревшего от боли мальчика.

Он со сна ничего не понимал. В глазах вспыхивали яркие молнии, и жгучая боль пронизывала все тело.

Избитый, едва доплелся домой.

Утром Артем, угрюмый, насупившийся, расспрашивал Павку обо всем случившемся.

Павка рассказал все, как было.

– Кто тебя бил? – глухо спросил Артем.

– Прохошка.

– Ладно, лежи.

Артем надел кожух и, не говоря ни слова, вышел.

– Могу я видеть официанта Прохора? – спросил у Глаши незнакомый рабочий.

– Он сейчас зайдет, подождите, – ответила она.

Громадная фигура прислонилась к притолоке.

– Ладно, подожду.

Прохор, тащивший на подносе целый ворох посуды, толкнув ногой дверь, вошел в судомойню.

– Вот этот самый, – сказала Глаша, указывая на Прохора. Артем шагнул вперед и, тяжело опустив руку на плечо официанта, спросил, глядя в упор:

– За что Павку, брата моего, бил?

Прохор хотел освободить плечо, но страшный удар кулака свалил его на пол; он пытался подняться, но второй удар, страшнее первого, пригвоздил его к полу.

Испуганные посудницы шарахнулись в сторону.

Артем повернулся и пошел к выходу.

Прохошка с разбитым в кровь лицом ворочался на полу. Артем из депо вечером не вернулся.

Мать узнала: сидит Артем в жандармском отделении.

Через шесть суток вернулся Артем вечером, когда мать спала. Подошел к сидевшему на кровати Павке и спросил ласково:

– Что, поправился, браток? – Присел рядом. – Бывает и хуже. – И, помолчав, добавил: – Ничего, пойдешь на электростанцию, я уж о тебе говорил. Там делу научишься.

Павка крепко сжал обеими руками громадную руку Артема.

## Глава вторая

В маленький городок вихрем ворвалась ошеломляющая весть: «Царя скинули!»

В городке не хотели верить.

С приползшего в пургу поезда на перрон выкатились два студента с винтовками поверх шинели и отряд революционных солдат с красными повязками на рукавах. Они арестовали станционных жандармов, старого полковника и начальника гарнизона. И в городке поверили. По снежным улицам к площади потянулись тысячи людей.

Жадно слушали новые слова: «свобода, равенство, братство».

Прошли дни, шумливые, наполненные возбуждением и радостью. Наступило затишье, и только красный флаг над зданием городской управы, где хозяевами укрепились меньшевики и бундовцы, говорил о происшедшей перемене. Все остальное осталось по-прежнему.

К концу зимы в городке разместился гвардейский кавалергардский полк. По утрам ездили эскадронами на станцию ловить дезертиров, бежавших с Юго-Западного фронта.

У кавалергардов лица сытые, народ рослый, здоровенный. Офицеры все больше графы да князья, погоны золотые, на рейтузах канты серебряные, всё как при царе, – словно и не было революции.

Прошагал мимо семнадцатый год. Для Павки, Климки и Сережки Брузжака ничего не изменилось. Хозяева остались старые. Только в дождливый ноябрь стало твориться что-то неладное. Зашевелились на вокзале новые люди, все больше из окопных солдат с чудным прозвищем: «большевики».

Откуда такое название, твердое, увесистое, – никому невдомек.

Трудновато гвардейцам дезертиров с фронта сдерживать. Все чаще лопались вокзальные стекла от ружейной трескотни. С фронта срывались целыми группами и при задержке отбивались штыками. В начале декабря хлынули целыми эшелонами.

Гвардейцы вокзал запрудили, удержать думали, но их пулеметными трещотками ошарашили. К смерти привычные люди из вагонов высыпали.

В город гвардейцев загнали серые фронтовики. Загнали, и на вокзал воротились, и дальше двинулись эшелон за эшелон.

Весной тысяча девятьсот восемнадцатого года трое друзей шли от Сережки Брузжака, где резались в «шестьдесят шесть». По дороге завернули в садик Корчагина. Прилегли на траву. Было скучно. Все привычные занятия надоели. Начали думать, как бы лучше денек провести. За спиной зацокали копыта лошади, и на дорогу вынесся всадник. Конь одним рывком перепрыгнул канаву, отделявшую шоссе от низенького забора садика. Конник махнул нагайкой лежавшим Павке и Климке:

– Эй, хлопцы мои, сюда!

Павка и Климка вскочили на ноги и подбежали к забору. Всадник был весь в пыли, толстым слоем серой дорожной пыли были покрыты сбитая на затылок фуражка, защитная гимнастерка и защитные штаны. На крепком солдатском ремне висел наган и две немецкие бомбы.

– Тащите воды попить, ребятки! – попросил всадник и, когда Павка побежал в дом за водой, обратился к глазевшему на него Сережке: – Скажи, паренек, какая власть в городе?

Сережка, торопясь, стал рассказывать приезжему все городские новости:

– Никакой власти у нас нет уже две недели. Самооборона у нас власть. Все жители по очереди ходят ночью город охранять. А вы кто такие будете? – в свою очередь задал он вопрос.

– Ну, много будешь знать – скоро состаришься, – с улыбкой ответил всадник.

Из дому бежал Павка, держа в руках кружку с водой.

Всадник жадно, залпом, выпил ее до дна, передал кружку Павке, рванул поводья и, взяв с места в карьер, помчался к сосновой опушке.

– Кто это был? – недоуменно спросил Павка Климку.

– Откуда я знаю? – ответил тот, пожав плечами.

– Наверно, смена власти опять будет. Потому и Лещинские вчера выехали. А раз богатые утекают – значит, придут партизаны, – окончательно и твердо разрешил этот политический вопрос Сережка.

Доводы его были настолько убедительны, что с ним сразу согласились и Павка и Климка.

Не успели ребята как следует поговорить об этом, как по шоссе зацокали копыта. Все трое бросились к забору.

Из лесу, из-за дома лесничего, чуть видного ребятам, двигались люди, повозки, а совсем недалеко по шоссе – человек пятнадцать конных с винтовками поперек седла. Впереди конных двое: один – пожилой, в защитном френче, перепоясанном офицерскими ремнями, с биноклем на груди, а рядом с ним – только что виденный ребятами всадник. На френче у пожилого – красный бант.

– А я что говорил? – толкнул Павку локтем в бок Сережка – Видишь, красный бант. Партизаны. Лопни мои глаза – партизаны... – И, гикнув от радости, птицей переметнулся через забор на улицу.

Оба приятеля последовали за ним. Все трое стояли теперь на краю шоссе и смотрели на подъезжающих.

Всадники подъехали совсем близко. Знакомый ребятам кивнул им и, указав нагайкой на дом Лещинских, спросил:

– Кто в этом доме живет?

Павка, стараясь не отстать от лошади всадника, рассказывал:

– Здесь адвокат Лещинский живет. Вчера сбежал. Вас, видно, испугался...

– Ты откуда знаешь, кто мы такие? – спросил, улыбаясь, пожилой.

Павка, указывая на бант, ответил:

– А это что? Сразу видать...

На улицу высыпали жители, с любопытством рассматривая входивший в город отряд. Наши приятели стояли у шоссе и тоже смотрели на запыленных, усталых красногвардейцев.

Когда прогремело по камням единственное в отряде орудие и проехали повозки с пулеметами, ребята двинулись за партизанами и разошлись по домам лишь после того, как отряд остановился в центре города и стал размещаться по квартирам.

Вечером в большой гостиной дома Лещинских, где остановился штаб отряда, за большим с резными ножками столом сидело четверо: трое из комсостава и командир отряда товарищ Булгаков – пожилой, с проседью в волосах.

Булгаков, развернув на столе карту губернии, водил по ней ногтем, оттискивая линии, и говорил, обращаясь к сидевшему напротив скуластому, с крепкими зубами:

– Ты говоришь, товарищ Ермаченко, что здесь надо будет драться, а я думаю – надо утром отходить. Хорошо бы даже ночью, да люди устали. Наша задача – успеть отойти к Казатину, пока немцы не добрались туда раньше нас. Оказывать сопротивление с нашими силами – это же смешно... Одно орудие и тридцать снарядов, двести штыков и шестьдесят сабель – грозная сила... Немцы идут железной лавиной. Драться мы сможем, только соединившись с другими отходящими красными частями. Ведь мы должны иметь в виду, товарищ, что, кроме немцев, мы имеем по пути много разных контрреволюционных банд. Мое мнение – завтра же утром отходить, взорвав мостик за станцией. Пока немцы будут его налаживать, пройдет два-три дня. По железной дороге их продвижение будет задержано... Вы как думаете, товарищи? Давайте решим, – обратился он к сидящим за столом.

Сидевший наискосок от Булгакова Стружков пожевал губами, посмотрел на карту, потом на Булгакова и наконец с трудом выдавил застрявшие в горле слова:

– Я... под... держиваю Булгакова.

Самый молодой, в рабочей блузе, согласился:

– Булгаков говорит дело.

И только Ермаченко, тот, что днем говорил с ребятами, отрицательно мотнул головой:

– На черта же мы тогда отряд собирали? Чтобы отходить перед немцами без драки? По-моему, нам надо здесь с ними стукнуться. Надоело драпака задавать... Ежели бы на меня, то я дрался бы здесь обязательно. – Он резко отодвинул стул, поднялся и зашагал по комнате.

Булгаков неодобрительно посмотрел на него:

– Драться надо с толком, Ермаченко. А бросать людей на верный разгром и уничтожение – этого мы не можем делать. Да это и смешно. За нами движется целая дивизия с тяжелой артиллерией, бронемашинами... Не надо ребячиться, товарищ Ермаченко... – И, уже обращаясь к остальным, закончил: – Итак, решено – завтра утром отходим... – Следующий вопрос – о связи, – продолжал совещание Булгаков. – Поскольку мы отходим последними, на нас ложится задача по организации работы в тылу у немцев. Здесь – крупный железнодорожный узел, городишко имеет два вокзала. Мы должны позаботиться о том, чтобы на станции работал надежный товарищ. Сейчас мы решим, кого из своих оставить здесь для налаживания работы. Намечайте кандидатуры.

– Я думаю, что здесь должен остаться матрос Жухрай, – сказал Ермаченко, подходя к столу. – Во-первых, Жухрай из здешних мест. Во-вторых, он слесарь и монтер – сможет устроиться работать на станции. С нашим отрядом Федора никто не видел – он приедет лишь ночью. Парень он мозговитый и здесь дело наладит. По-моему, это самый подходящий человек.

Булгаков кивнул головой.

– Правильно, – я с тобой согласен, Ермаченко. Вы, товарищи, не возражаете?... – обратился он к остальным. – Нет. Значит, вопрос исчерпан. Мы оставляем Жухраю денег и мандат на работу... Теперь третий, последний вопрос, товарищи, – произнес Булгаков. – Это вопрос об оружии, находящемся в городе. Здесь имеется целый склад винтовок – двадцать тысяч штук, оставшихся еще от царской войны. Сложены они в крестьянском сарае и лежат там, забытые всеми. Мне сообщил об этом крестьянин – хозяин сарая. Хочет избавиться от них... Оставлять немцам этот склад, конечно, нельзя. Я считаю, нужно его сжечь. И сейчас же, чтобы к утру все было готово. Только поджигать-то опасно: сарай стоит на краю города, среди бедняцких дворов. Могут загореться крестьянские постройки.

Крепко сбитый, со щетиной давно небритой бороды, Стружков шевельнулся:

– За... за... зачем... поджигать? Я д... думаю раз...раздать оружие на...населению.

Булгаков быстро повернулся к нему:

– Раздать, говоришь?

– Правильно. Вот это правильно! – восхищенно воскликнул Ермаченко. – Раздать его рабочим и остальному населению, кто захочет. Будет по крайней мере, чем почесать бока немцам, когда прижмут до края. Зажимать ведь, как полагается, крепко будут. А когда станет невозможно, возьмутся ребята за оружие. Стружков правильно сказал: раздать. Хорошо бы даже в деревеньку завезти. Мужички припрячут поглубже, а как немцы станут реквизировать подчистую, эти винтовочки-то ой как нужны будут!

Булгаков засмеялся:

– Да, но ведь немцы прикажут сдать оружие, и все его снесут.

Ермаченко запротестовал:

– Ну, не все снесут. Кто снесет, а кто и оставит. Булгаков вопросительно обвел глазами сидящих.

– Раздадим, раздадим винтовки, – поддержал Ермаченко и Стружкова молодой рабочий.

– Ну что же, значит, раздадим, – согласился Булгаков. – Вот и все вопросы, – сказал он, вставая из-за стола. – Теперь мы сможем до утра отдохнуть. Когда приедет Жухрай, пусть зайдет ко мне. Я побеседую с ним. А ты, Ермаченко, пойди проверь посты.

Оставшись один, Булгаков прошел в соседнюю с гостиной спальню хозяев и, разостлав на матраце шинель, лег.

Утром Павка возвращался с электростанции. Уже целый год работал он подручным кочегара.

В городке царило необычайное оживление. Это оживление сразу бросилось ему в глаза. По дороге все чаще и чаще встречались жители, несущие по одной, по две и по три винтовки. Павка заспешил домой, не понимая, в чем дело. Возле усадьбы Лещинского садились на лошадей вчерашние его знакомые.

Вбежав в дом, наскоро помывшись и узнав от матери, что Артема еще нет, Павка выскочил и помчался к Сережке Брузжаку, жившему на другом конце города.

Сережка был сыном помощника машиниста. Его отец имел собственный маленький домик и такое же маленькое хозяйство. Сережки дома не оказалось. Мать его, полная белолицая женщина, недовольно посмотрела на Павку:

– А черт его знает, где он! Сорвался чуть свет, носит его нелегкая. Оружие, говорит, где-то раздают, так он, наверное, там и есть. Всыпать вам розог надо, сопливым воякам. Распустились уж чересчур. Сладу нет. Два вершка от горшка, а туды же, за оружие. Ты ему, подлецу, скажи: если хоть один патрон в дом принесет, голову оторву! Натащит всякой дряни, а потом отвечай за него... А ты что, тоже туда собрался?

Но Павка уже не слушал сварливой Сережкиной мамы и выкатился на улицу.

По шоссе шел мужчина и нес на каждом плече по винтовке.

– Дядя, скажи, где достал? – подлетел к нему Павка.

– А там, на Верховине, раздают!..

Павка помчался что есть духу по указанному адресу. Пробежав две улицы, он наткнулся на мальчишку, тащившего тяжелую пехотную винтовку со штыком.

– Где взял ружье? – остановил его Павка.

– Напротив школы раздают отрядники, но уже ничего нет. Всё разобрали. Целую ночь давали, одни ящики пустые лежат. А я вторую несу, – с гордостью закончил мальчишка.

Сообщенная новость страшно огорчила Павку.

«Эх, черт, надо было сразу бежать туда, а не идти домой! – с отчаянием думал он. – И как это я проморгал?»

И вдруг, осененный мыслью, круто повернулся и, нагнав тремя прыжками уходящего мальчишку, с силой рванул винтовку у него из рук.

– У тебя уже одно есть – хватит. А это мне, – тоном, не допускающим возражения, заявил Павка.

Мальчишка, взбешенный грабежом среди белого дня, бросился на Павку, но тот отпрыгнул шаг назад и, выставив вперед штык, крикнул:

– Отскочь, а то наколешься!

Мальчишка заплакал с досады и побежал обратно, ругаясь от бессильной злобы. А Павка, удовлетворенный, помчался домой. Перемахнул через забор, вбежал в сарайчик, примостил на балках под крышей добытую винтовку и, радостно посвистывая, вошел в дом.

Хороши вечера на Украине летом в таких маленьких городишках-местечках, как Шепетовка, где середина – городок, а окраины – крестьянские.

В такие тихие летние вечера вся молодежь на улицах. Девчата, парубки – все у своих крылечек, в садах, палисадниках, прямо на улице, на сваленных для застройки бревнах, группами, парочками. Смех, песни.

Воздух дрожит от густоты и запаха цветов. Глубоко в небе чуть-чуть поблескивают светлячками звезды, и голос слышен далеко-далеко...

Любит свою гармонь Павка Любовно ставит на колено певучую двухрядку венскую. Пальцы ловкие – клавиши чуть тронут, пробегают сверху вниз быстро, с перебором. Вздохнут басы, и засыплет гармоника лихую, залиvistую...

Извивается гармоника, и как тут в пляс не ударишься? Не утерпишь – ноги сами движутся. Жарко дышит гармоника, – хорошо жить на свете!

Сегодня вечером было особенно весело. Собралась на бревнах, у дома, где жил Павка, молодежь смешливая, а звонче всех – Галочка, соседка Павкина. Любит дочь каменотеса потанцевать, попеть с ребятами. Голос у нее – альт, грудной, бархатистый.

Побаивается ее Павка. Язычок у нее острый. Садится она рядом с Павкой на бревнах, обнимает его крепко и хохочет:

– Эх ты, гармонист удалой! Жаль, не дорос маленько парень, а то бы хороший муженек для меня был. Люблю гармонистов, тает мое сердце перед ними.

Краснеет Павка до корней волос, – хорошо, вечером не видно. Отодвигается от баловницы, а та его крепко держит – не пускает.

– Ну, куда ж ты, миленький, убегаешь? Ну и женишок, – шутит она.

Чувствует Павка плечом ее упругую грудь, и от этого становится как-то тревожно, волнуяще, а кругом смех будоражит обычно тихую улицу.

Павка упирается рукой в плечо Галочки и говорит:

– Ты мне мешаешь играть, отодвинься.

И снова взрыв хохота, поддразнивания, шутки. Вмешивается Маруся:

– Павка, сыграй что-нибудь грустное, чтобы за душу брало. Медленно растягиваются мехи, пальцы тихо перебирают.

Знакомая всем, родная мелодия. Галина первая подхватывает ее. За ней – Маруся и остальные:

Зібралися всі бурлаки  
до рідної хати,  
тут нам мило,  
тут нам любо  
в журбі заспівати.

И уносятся вдаль, к лесу, звонкие молодые голоса, поющие песню.

– Павка! – это голос Артема.

Павка сдвигает мехи гармоники, застегивает ремни:

– Зовут, я пошел.

Маруся говорит упрашивающе:

– Ну посиди еще, поиграй немного. Успеешь домой.

Но Павка спешит.

– Нет. Завтра еще поиграем, а сейчас идти надо. Артем зовет. – И бежит через улицу к домику.

Открыв дверь в комнатку, видит – за столом сидит Роман, товарищ Артема, и еще третий – незнакомый.

– Ты меня звал? – спросил Павка.

Артем кивнул на Павку головой и обратился к незнакомцу:

– Вот он самый и есть, братишка мой.

Тот протянул Павке узловатую руку.

– Вот что, Павка, – обратился Артем к брату. – Ты говоришь, что у вас на электростанции монтер заболел. Завтра узнай, не примут ли они на его место знающего человека. Если нужно, то придешь и скажешь.

Незнакомец вмешался:

– Нет, я пойду с ним вместе. Сам с хозяином и поговорю.

– Конечно, нужно. Ведь сегодня станция и не пошла, потому что Станкович заболел. Хозяин два раза прибежал – все искал кого-нибудь заменить, да не нашел. А пускать станцию с одним кочегаром не решился. А монтер тифом заболел.

– Ну вот, дело и сделано, – сказал незнакомец. – Завтра я за тобой зайду, и пойдем вместе, – обратился он к Павке.

– Хорошо.

Павка встретился с серыми спокойными глазами незнакомца, внимательно изучавшими его. Твердый, немигающий взгляд несколько смутил Павку. Серый пиджак, застегнутый сверху донизу, на широкой, крепкой спине был сильно натянут, – видно, хозяину он был тесен. Плечи с головой соединяла крепкая воловья шея, и весь он был налит силой, как старый коренастый дуб.

Прощаясь, Артем проговорил:

– Пока, всего хорошего, Жухрай. Завтра пойдешь с братишкой и уладишь все дело.

Немцы вошли в город через три дня после ухода отряда. Об их прибытии сообщил гудок паровоза на станции, осиротевшей за последние дни. По городу разнеслась весть:

– Немцы идут.

И город закопошился, как раздраженный муравейник, хотя давно все знали, что немцы должны прийти. Но в это как-то слабо верили. И вот эти страшные немцы не где-то идут, а уже здесь, в городе.

Все жители прилипли к заборам, калиткам. На улицу выходить боялись.

А немцы шли цепочкой по обеим сторонам, оставляя шоссе свободным, в темно-зеленых мундирах с винтовками наперевес. На винтовках – широкие, как ножи, штыки. На головах – тяжелые стальные шлемы. За спинами – громадные ранцы. И шли они от станции к городу беспрерывной лентой, шли настороженно, готовые каждую минуту к отпору, хотя отпора давать им никто и не собирался.

Впереди шагали два офицера с маузерами в руках. Посредине шоссе – гетманский старшина, переводчик, в синем украинском жупане и папахе.

Собрались немцы в каре на площади в центре города. Забили в барабан. Собралась небольшая толпа осмелевших обывателей. Гетманец в жупане вылез на крыльцо аптеки и громко прочитал приказ коменданта, майора Корфа.

Приказ гласил:

## **ПРИКАЗЫВАЮ**

### **§ 1**

Всем гражданам города снести в течение 24 часов имеющееся у них огнестрельное и холодное оружие. За неисполнение настоящего приказа – расстрел.

## § 2

В городе объявляется военное положение, и хождение после 8 часов вечера воспрещается.

*Комендант города майор Корф.*

В доме, где раньше находилась городская управа, а после революции помещался Совет рабочих депутатов, разместилась немецкая комендатура. У крыльца дома стоял часовой уже не в стальном шлеме, а в парадной каске, с огромным императорским орлом. Тут же, во дворе, было складочное место для сносимого оружия.

Целый день напуганный угрозой расстрела обыватель сносил оружие. Взрослые не показывались. Оружие несли молодежь и мальчуганы. Немцы никого не задерживали.

Те, кто не хотел нести, ночью выбрасывали оружие прямо на шоссе, и утром немецкий патруль собирал его, складывал на военную повозку и увозил в комендатуру.

В первом часу дня, когда вышел срок сдачи оружия, немецкие солдаты подсчитывали свои трофеи. Всего сданных винтовок было четырнадцать тысяч штук. Итак, шесть тысяч винтовок немцы обратно не получили. Повальные обыски, произведенные ими, дали очень незначительные результаты.

На рассвете следующего дня за городом, у старого еврейского кладбища, были расстреляны двое рабочих-железнодорожников, у которых при обыске были найдены спрятанные винтовки.

Артем, выслушав приказ, поспешил домой. Во дворе он встретил Павку, взял его за плечи и тихо, но настойчиво спросил:

– Ты что-нибудь принес домой со склада?

Павка собирался умолчать о винтовке, но врать брату не хотелось, и все рассказал.

Пошли к сараю вместе. Артем достал заложенную за балки винтовку, вынул из нее затвор, снял штык и, взяв винтовку за дуло, размахнулся и со всей силой ударил о столб забора. Приклад разлетелся. Остатки винтовки были выброшены далеко в пустырь за садиком. Штык и затвор Артем бросил в уборную. Прodelав все это, Артем повернулся к брату:

– Ты уже не маленький, Павка, понимаешь, что с оружием играть незачем. Я тебе всерьез говорю – ничего в дом не носи. Ты знаешь, за это жизнью можно теперь поплатиться. Смотри не обманывай меня, а то принесешь, найдут, меня же первого и расстреляют. Тебя-то, сморкача, трогать не будут. Времена теперь собачьи, понимаешь?

Павка обещал ничего не носить.

Когда шли оба через двор в дом, у ворот Лещинских остановилась коляска. Из нее выходили адвокат с женой и их дети – Нелли и Виктор.

– Прилетели птички, – злобно проговорил Артем. – Эх, и кутерьма начнется, едят его мухи! – И вошел в дом.

Весь день Павка грустил о винтовке. В это время его приятель Сережка трудился изо всех сил в старом заброшенном сарае, разгребая лопатой землю у стены. Наконец яма была готова. Сережка сложил в нее замотанные в тряпки три новенькие винтовки, добытые им при раздаче. Отдавать их немцам он не собирался – не для того мучился целую ночь, чтобы расстаться со своей добычей.

Засыпав яму землей, он плотно утрамбовал ее, натащил на выровненное место кучу мусора и старого хлама; критически осмотрев результаты своего труда и найдя его удовлетворительным снял с головы фуражку и вытер со лба пот.

«Ну, теперь пускай ищут. А если найдут, то чей сарай – неизвестно».

Павка незаметно сблизился с суровым монтером, который уже месяц, как работал на электростанции.

Жухрай показывал подручному кочегару устройство динамо и приучал его к работе.

Смышленный мальчишка понравился матросу. Жухрай частенько приходил к Артему по свободным дням. Рассудительный и серьезный матрос терпеливо выслушивал все рассказы о жите-бытье, особенно когда мать жаловалась на проказы Павки.

Он умел так успокаивающе подействовать на Марию Яковлевну, что та забывала свои невзгоды и становилась бодрее.

Как-то раз Жухрай остановил Павку во дворе электростанции, среди сложенных штабелей дров, и, улыбнувшись, спросил:

– Мать рассказывает, ты драться любишь. «Он у меня, – говорит, – драчливый, – как петух». – Жухрай рассмеялся одобрительно. – Драться вообще не вредно, только надо знать, кого бить и за что бить.

Павка, не зная, смеется над ним Жухрай или говорит серьезно, ответил:

– Я зря не дерусь, всегда по справедливости. Жухрай неожиданно предложил:

– Хочешь, научу тебя драться по-настоящему? Павка удивленно на него посмотрел:

– Как так – по-настоящему?

– А вот посмотришь.

И Павка прослушал первую короткую лекцию по английскому боксу.

Нелегко досталась Павке эта наука, но усвоил он ее прекрасно. Не раз летел он кубарем, сбитый с ног ударом кулака Жухрая, но учеником оказался прилежным и терпеливым.

В один из жарких дней Павка, придя от Климки, послонявшись по комнате и не найдя себе работы, решил забраться на любимое местечко – на крышу сторожки, стоявшей в углу сада, за домом. Он прошел через двор, вошел в садик и, дойдя до дощатого сарая, по выступам забрался на крышу. Пробравшись сквозь густые ветви вишен, склонившихся над сараем, он выбрался на середину крыши и прилег на солнышке.

Одной стороной сторожка выходила в сад Лещинских, и, если добраться до края, виден весь сад и одна сторона дома. Павка высунул голову над выступом и увидел часть двора со стоявшей там коляской. Видно было, как денщик немецкого лейтенанта, поместившегося у Лещинских на квартире, чистил щеткой вещи своего начальника. Павка не раз видел лейтенанта у ворот усадьбы.

Лейтенант был приземистый, краснощекий, с маленькими подстриженными усиками, в пенсне и фуражке с лакированным козырьком. Знал Павка, что лейтенант помещается в боковой комнате, окно которой выходило в сад и было видно с крыши.

Сейчас лейтенант сидел за столом и что-то писал, потом взял написанное и вышел. Передав письмо денщику, он пошел по дорожке сада к калитке, выходящей на улицу. У витой беседки лейтенант остановился – видно, с кем-то говорил. Из беседки вышла Нелли Лещинская. Взяв ее под руку, лейтенант пошел с ней к калитке, и оба вышли на улицу.

Все это наблюдал Павка. Он уже собирался заснуть, когда увидел, что в комнату лейтенанта вошел денщик, повесил на вешалку мундир, открыл окно в сад и, убрав комнату, вышел, прикрыв за собой дверь. Тотчас же Павка увидел его у конюшни, где стояли лошади.

В открытое окно Павке была хорошо видна вся комната. На столе лежали какие-то ремни и еще что-то блестящее.

Подталкиваемый нестерпимым зудом любопытства, Павка тихо перелез с крыши на ствол черешни и спустился в сад Лещинских. Согнувшись, в несколько скачков он добежал до раскрытого окна и заглянул в комнату. На столе лежали пояс с портупеей и кобура с прекрасным двенадцатизарядным «манлихером».

У Павки захватило дух. Несколько секунд в нем происходила борьба, но, захлестнутый отчаянной дерзостью, он перегнулся, схватил кобуру и, вытащив из нее новый вороненый револьвер, прыгнул в сад. Оглянувшись по сторонам, осторожно сунул револьвер в карман и бросился через сад к черешне. Вскарабкавшись быстро, по-обезьяньи, на крышу, Павка оглянулся назад. Денщик мирно разговаривал с конюхом. В саду было тихо... Он сполз с сарая и помчался домой.

Мать возилась на кухне, готовя обед, и не обратила на Павку внимания.

Схватив лежавшую за сундуком тряпку, Павка сунул ее в карман, незаметно выскользнул в дверь, пробежал через сад, перелез через забор и выбрался на дорогу, ведущую к лесу. Придерживая рукой тяжело бивший по ноге револьвер, что есть мочи помчался к старому, завалившемуся кирпичному заводу.

Ноги едва касались земли, ветер свистел в ушах.

У старого кирпичного завода было тихо. Кое-где провалившаяся деревянная крыша, горы разбитого кирпича и разрушающиеся обжигные печи наводили тоску. Все здесь поросло бурьяном. И только трое друзей иногда собирались сюда для своих игр. Павка знал много потаенных местечек, где можно спрятать украденное сокровище.

Забравшись в пролом печи, он осторожно оглянулся, но дорога была пуста. Тихо шумели сосны, легкий ветерок крутил придорожную пыль. Крепко пахло смолой.

На самом дне печи, в уголке, положил Павка завернутый в тряпку револьвер, закрыл его пирамидкой старых кирпичей. Выбравшись оттуда, завалил кирпичами вход в старую печь, заметил расположение кирпичей и, выйдя на дорогу, медленно пошел назад.

Ноги в коленях чуть дрожали. «Чем все это кончится?» – думал он, и сердце сжималось как-то тягуче-тревожно.

На электростанцию пошел раньше времени, чтобы только не быть дома. Взял у сторожа ключ и открыл широкую дверь, ведущую в помещение, где стояли двигатели. И пока чистил поддувало, накачивал в котел воду и растапливал топку, думал:

«Что теперь делается на даче Лещинских?»

Уже поздно, часов в одиннадцать, к Павке зашел Жухрай, отозвал его во двор и тихо спросил:

– Почему у вас обыск был сегодня? Павка испуганно вздрогнул:

– Как – обыск?

Жухрай, помолчав, добавил:

– Да, дело неважное. Ты не знаешь, что они искали? Павка хорошо знал, что искали, но рассказать о краже револьвера не решился. Весь вздрагивая от тревоги, он спросил:

– Артема арестовали?

– Никого не арестовали, но все в доме перерыли вверх дном. От этих слов стало немного легче, но тревога не проходила.

Несколько минут каждый думал о своем. Один из них, зная причину обыска, тревожился о последствиях, другой не знал и от этого настораживался.

«Черт их знает, может, пронюхали про меня что-нибудь? Артему обо мне ничего неизвестно, а почему у него обыск? Надо быть поосторожней», – думал Жухрай.

Разошлись молча к своей работе.

А в усадьбе был большой переполох.

Лейтенант, обнаружив отсутствие револьвера, вызвал денщика; узнав, что револьвер пропал, он, обычно корректный, сдержанный, ударил денщика со всего размаха в ухо; тот, качнувшись от удара, стоял, вытянувшись в струнку, и, виновато мигая глазами, покорно ожидал дальнейшего.

Вызванный для объяснения адвокат тоже возмущался и извинялся перед лейтенантом за то, что в его доме случилась такая неприятность.

Присутствовавший при этом Виктор Лещинский высказал отцу предположение, что револьвер могли украсть соседи, в особенности хулиган Павел Корчагин. Отец поспешно стал объяснять лейтенанту мысль сына, и тот немедленно дал распоряжение вызвать наряд для обыска.

Обыск не дал никаких результатов. Случай с пропажей револьвера убедил Павку в том, что даже и такие рискованные предприятия иногда оканчиваются благополучно.

## Глава третья

Тоня стояла у раскрытого окна. Она скучающе смотрела на знакомый, родной ей сад, на окружающие его высокие, стройные тополя, чуть вздрагивающие от легкого ветерка. И не верилось, что целый год она не видела родной усадьбы. Казалось, что только вчера она оставила все эти с детства знакомые места и вернулась сегодня с утренним поездом.

Ничего здесь не изменилось: такие же аккуратно подстриженные ряды малиновых кустов, все так же геометрически расчерченные дорожки, засаженные любимыми цветами мамы – анютиными глазками. Все в саду чистенько и прибрано. Всюду видна педантичная рука ученого лесовода. И Тоне скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек.

Тоня взяла недочитанный роман, открыла дверь на веранду, спустилась по лестнице в сад, толкнула маленькую крашеную калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки.

Миновав мостик, она вышла на дорогу. Дорога была как аллея. Справа пруд, окаймленный вербой и густым ивняком. Слева начинался лес.

Она направилась было к прудам, на старую каменоломню, но остановилась, заметив внизу у пруда взметнувшуюся удочку.

Нагнувшись над кривой вербой, раздвинула рукой ветви ивняка и увидела загорелого парнишку, босого, с засученными выше колен штанами. Сбоку стояла ржавая жестяная банка с червями. Парень был увлечен своим занятием и не замечал пристального взгляда Тони.

– Разве здесь рыба ловится?

Павка сердито оглянулся.

Держась за вербу, низко нагнувшись к воде, стояла незнакомая девушка. На ней была белая матроска с синим в полоску воротником и светло-серая короткая юбка. Носочки с каемочкой плотно обтягивали стройные загорелые ноги в коричневых туфельках. Каштановые волосы были собраны в тяжелый жгут.

Рука с удочкой чуть вздрогнула, гусиный поплавок кивнул головкой, и от него разбежалась кругами всколыхнувшаяся ровная гладь воды.

А голосок сзади взволнованно:

– Клюет, видите, клюет...

Павел совсем растерялся, дернул удочку. Вместе с брызгами воды вынырнул вертящийся на крючке червячок.

«Ну, теперь половишь, черта с два! Принес леший вот эту», – раздраженно думал Павка и, чтобы скрыть свою неловкость, закинул удочку подальше в воду – между двух лопухов, как раз туда, куда закидывать не следовало, крючок мог зацепиться за корягу.

Сообразил и, не оборачиваясь, прошипел в сторону сидевшей наверху девушки:

– Чего вы галдите? Так вся рыба разбежится. И услышал сверху насмешливое, издевающееся:

– Она давно уже разбежалась от одного вашего вида. Разве днем ловят? Эх вы, горе-рыбак!

Это было уже слишком для старавшегося соблюсти приличие Павки. Он встал и, надвинув на лоб кепку, что всегда у него являлось признаком злости, проговорил, подбирая наиболее деликатные слова:

– Вы бы, барышня, ушивались куда-нибудь, что ли. Глаза Тони чуть-чуть сузились, заискрились промелькнувшей улыбкой.

– Разве я вам мешаю?

В голосе ее уже не было насмешки, было в нем что-то дружеское, примиряющее, и Павка, собравшийся наругать этой невесть откуда взявшейся «барышне», был обезоружен.

– Что же, смотрите, если охота. Мне места не жалко, – согласился он и, присев, опять глянул на поплавок.

Тот прибил к лопуху, и было ясно, что крючок зацепился за корень. Потянуть его Павка не решался.

«Если зацепится, тогда не оторвешь. – А эта, конечно, смеяться будет. Хоть бы ушла», – рассуждал он.

Но Тоня, усевшись поудобнее на чуть покачивающуюся изогнутую вербу, положила на колени книгу и стала наблюдать за загорелым черноглазым грубияном, так нелюбезно встретившим ее и теперь нарочито не обращающим на нее внимания.

Павке хорошо видно в зеркальной воде отражение сидящей девушки. Она читает, а он потихоньку тянет зацепившуюся лесу. Поплавок ныряет; леса, упираясь, натягивается.

«Зацепилась, проклятая!» – мелькает мысль, а косым взглядом видит в воде смеющуюся мордочку.

Через мостик у водокачки прошли двое молодых людей – гимназисты-семиклассники. Один – сын начальника депо, инженера Сухарько+, белобрысый веснушчатый семнадцатилетний балбес и повеса Рябой Шурка, как прозвали его в училище, с хорошей удочкой, с лихо закушенной папироской. Рядом – Виктор Лещинский, стройный, изнеженный юноша.

Сухарько, подмигивая, нагнувшись к Виктору, говорил:

– Девочка эта с изюмом, другой такой здесь нет. Уверю, роман-ти-чес-кая особа. В Киеве учится в шестом классе, к отцу на лето приехала. Он здесь главный лесничий. Она знакома с моей сестрой Лизой. Я как-то письмецо ей подкатил в таком, знаешь, возвышенном духе. Влюблен, дескать, безумно и с трепетом ожидаю вашего ответа. И даже из Надсона выскреб стихотвореньице подходящее.

– Ну и что же? – с любопытством спросил Виктор. Сухарько, немного смущенный, проговорил:

– Да ломается, знаешь, задается. Не портить бумаги, говорит. Но это всегда так сначала бывает. Я в этих делах стреляная птица. Знаешь, неохота возиться – долго ухаживать да при-топтывать. Куда лучше, пойдешь вечером в ремонтные бараки и за трешку такую красавицу выберешь, что язычком оближешься. И безо всякого ломанья. Мы с Валькой Тихоновым ходили – ты дорожного мастера знаешь?

Виктор презрительно сморщился:

– Ты занимаешься такой гадостью, Шура?

Шура пожевал папироску, сплюнул и бросил насмешливо:

– Подумаешь, чистоплюй какой. Знаем, чем занимаетесь. Виктор, перебивая его, спросил:

– Так ты меня с этой познакомишь?

– Конечно, идем быстрее, пока она не ушла. Вчера она сама утром ловила.

Приятель уже приближался к Тоне. Вынув папироску изо рта, Сухарько, франтовато изогнувшись, поклонился:

– Здравствуйте, мадемуазель Туманова. Что, рыбу ловите?

– Нет, наблюдаю, как ловят, – ответила Тоня.

– А вы незнакомы? – зашепшил Сухарько, беря Виктора за руку. – Мой приятель, Виктор Лещинский.

Виктор смущенно подал Тоне руку.

– А почему вы сегодня не ловите? – старался завязать разговор Сухарько.

– Я не взяла удочки, – ответила Тоня.

– Я сейчас принесу еще одну, – заторопился Сухарько. – Вы пока половите моей, а я сейчас принесу.

Он выполнял данное Виктору слово познакомить его с Тоней и старался оставить их вдвоем.

– Нет, мы будем мешать. Здесь уже ловят, – ответила Тоня.

– Кому мешать? – спросил Сухарько. – Ах, вот этому? – Он только сейчас заметил сидевшего у куста Павку. – Ну, этого я выставлю отсюда в два счета.

Тоня не успела ему помешать. Он спустился вниз к удившему Павке.

– Сматывай удочки сейчас же, – обратился Сухарько к Павке. – Ну, быстрее, быстрее, – говорил он, видя, что Павка спокойно продолжает удить.

Павка поднял голову, посмотрел на Сухарько взглядом, не обещающим ничего хорошего:

– А ты потише. Чего губы распустил?

– Что-о-о? – вскипел Сухарько. – Ты еще разговариваешь, рвань несчастная! Пош-шел вон отсюда! – и с силой ударил носком ботинка по банке с червями.

Та перевернулась в воздухе и шлепнулась в воду. Брызги от разлетевшейся воды попали на лицо Тони.

– Сухарько, как вам не стыдно! – воскликнула она. Павка вскочил. Он знал, что Сухарько – сын начальника депо, в котором работал Артем, и если он сейчас ударит в эту рыхлую рыжую рожу, то гимназист пожалуется отцу, и дело обязательно дойдет до Артема. Это было единственной причиной, которая удерживала его от немедленной расправы.

Сухарько, чувствуя, что Павел сейчас его ударит, бросился вперед и толкнул обеими руками в грудь стоявшего у воды Павку. Тот взмахнул руками, изогнулся, но удержался и не упал в воду.

Сухарько был старше Павки на два года и имел репутацию первого драчуна и скандалиста.

Павка, получив удар в грудь, совершенно вышел из себя.

– Ах, так! Ну, получай! – и коротким взмахом руки влепил Сухарько режущий удар в лицо. Затем, не давая ему опомниться, цепко схватил за форменную гимназическую куртку, рванул к себе и потащил в воду.

Стоя по колени в воде, замочив свои блестящие ботинки и брюки, Сухарько изо всех сил старался вырваться из цепких рук Павки. Толкнув гимназиста в воду, Павка выскочил на берег.

Взбешенный Сухарько ринулся за Павкой, готовый разорвать его на куски.

Выскочив на берег и быстро обернувшись к налетевшему Сухарько, Павка вспомнил:

«Упор на левую ногу, правая напряжена и чуть согнута. Удар не только рукой, но и всем телом, снизу вверх, под подбородок».

Рррраз!..

Лязгнули зубы. Взвизгнув от страшной боли в подбородке и от прикушенного языка, Сухарько нелепо взмахнул руками и тяжело, всем телом, плюхнулся в воду.

А на берегу безудержно хохотала Тоня.

– Браво, браво! – кричала она, хлопая в ладоши. – Это замечательно!

Схватив удочку, Павка дернул ее и, оборвав зацепившуюся лесу, выскочил на дорогу.

Уходя, слышал, как Виктор говорил Тоне:

– Это самый отъявленный хулиган Павка Корчагин.

На станции становилось беспокойно. С линии приходили слухи, что железнодорожники начинают бастовать. На соседней большой станции деповские рабочие заварили кашу. Немцы арестовали двух машинистов по подозрению в провозе воззваний. Среди рабочих, связанных с деревней, начались большие возмущения, вызванные реквизициями и возвращением помещиков в свои фольварки.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Фольварк (нем.) – небольшая усадьба, поместье.

Плетки гетманских стражников полосовали мужицкие спины. В губернии развивалось партизанское движение. Уже насчитывалось до десятка партизанских отрядов, организованных большевиками.

Жухрай в эти дни не знал покоя. Он за время своего пребывания в городке проделал большую работу. Познакомился со многими рабочими-железнодорожниками, бывал на вечеринках, где собиралась молодежь, и создал крепкую группу из деповских слесарей и лесопильщиков. Пробовал прощупать и Артема. На его вопрос, как Артем смотрит насчет большевистского дела и партии, здоровенный слесарь ответил ему:

– Знаешь, Федор, я насчет этих партий слабо разбираюсь. Но помочь, ежели надо будет, всегда готов. Можешь на меня рассчитывать.

Федор и этим остался доволен – знал, что Артем свой парень, и если что сказал, то и сделает. «А до партии, видать, еще не дошел человек. Ничего, времечко теперь такое, что скоро грамоту пройдет», – думал матрос.

Перешел Федор на работу с электростанции в депо. Удобнее было работать: на электростанции он был оторван от железной дороги.

Движение на дороге было громадное. Немцы увозили в Германию тысячами вагонов все, что награбили на Украине: рожь, пшеницу, скот...

Неожиданно гетманская стража взяла на станции телеграфиста Пономаренко. Били его в комендантской жестоко, и, видно, рассказал он про агитацию Романа Сидоренко, деповского товарища Артема.

За Романом пришли во время работы два немца и гетманец – помощник станционного коменданта. Подойдя к верстаку, где работал Роман, гетманец, не говоря ни слова, ударил его нагайкой по лицу.

– Идем, сволочь, за нами! Там поговорим кой о чем, – сказал он. И, жутко ослабившись, рванул слесаря за рукав. – Там у нас поагитируешь!

Артем, работавший на соседних тисках, бросил напильник и, надвинувшись всей громадой на гетманца, сдерживая накатывающуюся злобу, прохрипел:

– Как смеешь бить, гад?

Гетманец попятился, отстегивая кобуру револьвера. Низенький, коротконогий немец скинул с плеча тяжелую винтовку с широким штыком и лязгнул затвором.

– Хальт! – пролаял он, готовый выстрелить при первом движении.

Верзила-слесарь беспомощно стоял перед этим плюгавеньким солдатом, бессильный что-либо сделать.

Забрали обоих. Артема через час выпустили, а Романа заперли в багажном подвале.

Через десять минут в депо никто не работал. Деповские собрались в станционном саду. К ним присоединились другие рабочие, стрелочники и работающие на материальном складе. Все были страшно возбуждены. Кто-то написал воззвание с требованием выпустить Романа и Пономаренко.

Возмущение еще более усилилось, когда примчавшийся к саду с кучей стражников гетманец, размахивая револьвером, закричал:

– Если не пойдете, сейчас же на месте всех переарестуем! А кое-кого и к стенке поставим.

Но крики озлобленных рабочих заставили его ретироваться на станцию. Из города уже летели по шоссе грузовики, полные немецких солдат, вызванных комендантом станции.

Рабочие стали разбегаться по домам. С работы ушли все, даже дежурный по станции. Сказывалась Жухраева работа. Это было первое массовое выступление на станции.

Немцы установили на перроне тяжелый пулемет. Он стоял, как легавая собака на стойке. Положив руку на рукоять, на корточках около него сидел немецкий капрал.

Вокзал обезлюдел.

Ночью начались аресты. Забрали и Артема. Жухрай дома не ночевал, его не нашли.

Собрали всех в громадном товарном пакгаузе и выставили ультиматум: возврат на работу или военно-полевой суд.

По линии бастовали почти все рабочие-железнодорожники. За сутки не прошел ни один поезд, а в ста двадцати километрах шел бой с крупным партизанским отрядом, перерезавшим линию и взорвавшим мосты.

Ночью на станцию пришел эшелон немецких войск, но машинист, его помощник и кочегар сбежали с паровоза. Кроме воинского эшелона, на станции ожидали очереди на отправление еще два состава.

Открыв тяжелые двери пакгауза, вошел комендант станции, немецкий лейтенант, его помощник и группа немцев.

Помощник коменданта вызвал:

– Корчагин, Политовский, Брузжак. Вы сейчас едете поездной бригадой. За отказ – расстрел на месте. Едете?

Трое рабочих понуро кивнули головами. Их повели под конвоем к паровозу, а помощник коменданта уже выкрикивал фамилии машиниста, помощника и кочегара на другой состав.

Паровоз сердито отфыркивался брызгами светящихся искр, глубоко дышал и, продавливая темноту, мчал по рельсам в глубь ночи. Артем, набросав в топку угля, захлопнул ногой железную дверцу, потянул из стоявшего на ящике курного чайника глоток воды и обратился к старику машинисту Политовскому:

– Везем, говоришь, папаша?

Тот сердито мигнул из-под нависших бровей:

– Да, повезешь, ежели тебя штыком в спину.

– Бросить все и тикать с паровоза, – предложил Брузжак, искоса поглядывая на сидевшего на тендере немецкого солдата.

– Я тоже так думаю, – буркнул Артем, – да вот этот тип за спиной торчит.

– Да... – неопределенно протянул Брузжак, высовываясь в окно.

Подвинувшись поближе к Артему, Политовский тихо прошептал:

– Нельзя нам везти, понимаешь? Там бой идет, повстанцы пути повзрывали. А мы этих собак привезем, так они их порешат в два счета. Ты знаешь, сынок, я при царе не возил при забастовках. И теперь не повезу. До смерти позор будет, если для своих расправу привезем. Ведь бригада-то паровозная разбежалась. Жизнью рисковали, а все же разбежались хлопцы. Нам поезд доставлять никак невозможно. Как ты думаешь?

– Я согласен, папаша, но что ты сделаешь вот с этим? – И он взглядом показал на солдата.

Машинист сморщился, вытер паклей вспотевший лоб и посмотрел воспаленными глазами на манометр, как бы надеясь найти там ответ на мучительный вопрос. Потом злобно, с накипью отчаяния, выругался.

Артем потянул из чайника воды. Оба думали об одном и том же, но никто не решался первым высказаться. Артему вспомнилось Жухраево:

«Как ты, братишка, насчет большевистской партии и коммунистической идеи рассматриваешь?»

И его, Артема, ответ:

«Помочь всегда готов, можешь на меня положиться...»

«Хороша помощь, везем карателей...»

Политовский, нагнувшись над ящиком с инструментом бок о бок с Артемом, с трудом выговорил:

– А этого надо порешить. Понимаешь?

Артем вздрогнул. Политовский, скрипнув зубами, добавил:

– Иначе выхода нет. Стукнем, и регулятор в печку, рычаги в печку, паровоз на снижающий ход – и с паровоза долой.

И, будто скидывая тяжелый мешок с плеч, Артем сказал:

– Ладно.

Артем, нагнувшись к Брузжаку, рассказал помощнику о принятом решении.

Брузжак не скоро ответил. Каждый из них шел на очень большой риск. У всех оставались дома семьи. Особенно многосемейным был Политовский: у него дома осталось девять душ. Но каждый сознавал, что везти нельзя.

– Что ж, я согласен, – сказал Брузжак, – но кто ж его... – Он не договорил понятную для Артема фразу.

Артем повернулся к старику, возившемуся у регулятора, и кивнул головой, как бы говоря, что Брузжак тоже согласен с их мнением, но тут же, мучимый неразрешимым вопросом, подвинулся к Политовскому ближе:

– Но как же мы это сделаем? Тот посмотрел на Артема:

– Ты начинай. Ты самый крепкий. Ломом двинем его разок – и кончено. – Старик сильно волновался.

Артем нахмурился:

– У меня это не выйдет. Рука как-то не поднимается. Ведь солдат, если разобраться, не виноват. Его тоже из-под штыка погнали.

Политовский блеснул глазами:

– Не виноват, говоришь? Но мы тоже ведь не виноваты, что нас сюда загнали. Ведь карательный везем. Эти невиноватые расстреливать партизанов будут, а те что, виноваты?... Эх ты, сиромаха!.. Здоров, как медведь, а толку с тебя мало...

– Ладно, – прохрипел Артем, беря лом. Но Политовский зашептал:

– Я возьму, у меня вернее. Ты бери лопату и лезь скидать уголь с тендера. Если будет нужно, то грохнешь немца лопатой. А я вроде уголь разбивать пойду.

Брузжак кивнул головой:

– Верно, старик. – И стал у регулятора.

Немец в суконной бескозырке с красным околышком сидел с края на тендере, поставив между ног винтовку, и курил сигару, изредка посматривая на возившихся на паровозе рабочих.

Когда Артем полез вверх грести уголь, часовой не обратил на это особого внимания. А затем, когда Политовский, как бы желая отгрести большие куски угля с края тендера, попросил его знаком подвинуться, немец послушно передвинулся вниз, к дверке, ведущей в будку паровоза.

Глухой, короткий удар лома, проломивший череп немцу, поразил Артема и Брузжака, как ожог. Тело солдата мешком свалилось в проход.

Серая суконная бескозырка быстро окрасилась кровью. Лязгнула ударившаяся о железный борт винтовка.

– Кончено, – прошептал Политовский, бросая лом, и, судорожно покривившись, добавил: – Теперь для нас заднего хода нет.

Голос сорвался, но тотчас же, преодолевая давившее всех молчание, перешел в крик.

– Вывинчивай регулятор, живей! – крикнул он. Через десяток минут все было сделано.

Паровоз, лишенный управления, медленно задерживал ход.

Тяжелыми взмахами вступали в огневой круг паровоза темные силуэты придорожных деревьев и тотчас же снова бежали в безглазую темь.

Фонари паровоза, стремясь пронизать тьму, натыкались на ее густую кисею и отбоявлялись у ночи лишь десяток метров.

Паровоз, как бы истратив последние силы, дышал все реже и реже.

– Прягай, сынок! – услышал Артем за собой голос Политовского и разжал руку, державшую поручень. Могучее тело по инерции пролетело вперед, и ноги твердо толкнулись о вырвавшуюся из-под них землю. Пробежав два шага, Артем упал, тяжело перевернувшись через голову.

С обеих подножек паровоза спрыгнули сразу еще две тени.

В доме Брузжаков было невесело. Антонина Васильевна, мать Сережи, за последние четыре дня совсем извелась. От мужа вестей не было. Она знала, что его вместе с Корчагиным и Политовским взяли немцы в поездную бригаду. Вчера приходили трое из гетманской стражи и грубо, с ругательствами, допрашивали ее.

Из этих слов она смутно догадывалась, что случилось что-то неладное, и, когда ушла стража, женщина, мучимая тяжелой неизвестностью, повязала платок, собираясь идти к Марии Яковлевне, надеясь у нее узнать о муже.

Старшая дочь, Валя, прибиравшая на кухне, увидев уходившую мать, спросила:

– Ты далеко, мама?

Антонина Васильевна, взглянув на дочь полными слез глазами, ответила:

– Пойду к Корчагиным. Может, узнаю у них про отца. Если Сережка придет, то скажи ему: пусть на станцию сходит к Политовским.

Валя, тепло обняв за плечи мать, успокаивала ее, провожая до двери:

– Ты не тревожься, мама.

Мария Яковлевна встретила Брузжак, как и всегда, радушно. Обе женщины ожидали услышать друг от друга что-либо новое, но после первых же слов надежда эта исчезла.

У Корчагиных ночью тоже был обыск. Искали Артема. Уходя, приказали Марии Яковлевне, как только вернется сын, сейчас же сообщить в комендатуру.

Корчагина была страшно перепугана ночным приходом патруля. Она была одна: Павел, как всегда, ночью работал на электростанции.

Павка пришел рано утром. Выслушав рассказ матери о ночном обыске и поисках Артема, он почувствовал, как все его существо наполняет гнетущая тревога за брата. Несмотря на разницу характеров и кажущуюся суровость Артема, братья крепко любили друг друга. Это была суровая любовь, без признаний, и Павел ясно сознавал, что нет такой жертвы, которую он не принес бы без колебаний, если бы она была нужна брату.

Он, не отдыхая, побежал на станцию в депо искать Жухрая, но не нашел его, а от знакомых рабочих ничего не смог узнать ни о ком из уехавших. Не знала ничего и семья машиниста Политовского. Павка встретил во дворе Бориса, самого младшего сына Политовского. От него он узнал, что ночью был обыск у Политовских. Искали отца.

Так ни с чем и вернулся Павка к матери, устало завалился на кровать и сразу потонул в беспокойной сонной зыби.

Валя оглянулась на стук в дверь.

– Кто там? – спросила она и откинула крючок.

В открытой двери появилась рыжая всклокоченная голова Марченко. Климка, видно, быстро бежал. Он запыхался и покраснел от бега.

– Мама дома? – спросил он Валю.

– Нет, ушла.

– А куда ушла?

– Кажется, к Корчагиным. – Валя задержала за рукав собравшегося было бежать Климку. Тот нерешительно посмотрел на девушку:

– Да так, знаешь, дело у меня к ней есть.

– Какое дело? – затормошила парня Валя. – Ну, говори же скорей, медведь ты рыжий, говори же, а то тянет за душу! – повелительным тоном командовала девушка.

Климка забыл все предостережения, категорический приказ Жухрая передать записку только Антонине Васильевне лично, вытащил из кармана замусоленный клочок бумажки и подал его девушке. Не мог отказать он этой белокурой сестренке Сережки, потому что рыженький Климка не совсем сводил концы с концами в своих отношениях к этой славной девчурке. Правда, скромный поваренок ни за что не признался бы даже самому себе, что ему нравится сестренка Сережи. Он отдал ей бумажку, которую та бегло прочла:

«Дорогая Тоня! Не беспокойся. Все хорошо. Живы и невредимы. Скоро узнаешь больше. Передай остальным, что все благополучно, чтоб не тревожились. Записку уничтожь. Захар».

Прочитав записку, Валя бросилась к Климке:

– Рыжий медведь, миленький мой, где ты достал это? Скажи, где ты достал, косолапый медвежонок? – И она изо всех сил тормозила растерявшегося Климку.

И он не опомнился, как сделал вторую оплошность:

– Это мне Жухрай на станции передал. – И, вспомнив, что этого не надо было говорить, добавил: – Только он сказал: никому не давать.

– Ну, хорошо, хорошо! – засмеялась Валя. – Я никому не скажу. Ну беги, рыженький, к Павке, там и мать застанешь.

Она легонько подталкивала поваренка в спину. Через секунду рыжая голова Климки мелькнула за калиткой.

Никто из троих домой не возвращался. Вечером Жухрай пришел к Корчагиным и рассказал Марии Яковлевне обо всем происшедшем на паровозе. Успокоил как мог испуганную женщину, сообщив, что все трое устроились далеко, в глухом селе, у дядьки Брузжака, что они там в безопасности, но возвращаться им сейчас, конечно, нельзя, но что немцам туго, можно ожидать в скором будущем изменения.

Все происшедшее еще больше сдружило семьи уехавших. С большой радостью читались редкие записки, присылаемые семьям, но в домах стало пустынное и тише.

Зайдя как-то раз как бы невзначай к старухе Политовской, Жухрай передал ей деньги:

– Вот, мамаша, вам поддержка от мужа. Только глядите, ни слова никому.

Старуха благодарно пожала ему руку:

– Вот спасибо, а то совсем беда, есть ребятам нечего. Деньги эти были из тех, что оставил Булгаков.

«Ну, ну, посмотрим, что дальше будет. Забастовка хотя и сорвалась, под страхом расстрела рабочие хотя и работают, но огонь загорелся, его уже не потушишь, а те трое – молодцы, это пролетарии», – с восхищением думал матрос, шагая от Политовских к депо.

В старенькой кузнице, повернувшейся своей закопченной стеной к дороге на отшибе села Воробьева Балка, у огневой глотки печи, слегка жмурясь от яркого света, Политовский длинными щипцами ворочал уже накалившийся докрасна кусок железа.

Артем нажимал на подвешенный к перекладине рычаг, раздувавший кожаные мехи.

Машинист, добродушно усмехаясь себе в бороду, говорил:

– Мастеровому на селе сейчас не пропасть, работа найдется, хоть завались. Вот подработаем недельку-другую, и, пожалуй, сальца и мучицы своим послать сможем. У мужичка, сынок, кузнец всегда в почете. Откормимся здесь, как буржуи, хе-хе. А Захар-то особь статья, он больше по крестьянству придерживается, закопался в землю с дядькой своим. Что ж, оно, пожалуй, понятно. У нас с тобой, Артем, ни кола, ни двора, горб да рука, как говорится – вековая пролетария, хе-хе, а Захар пополам разделился, одна нога на паровозе, другая в деревне. – Он потрогал щипцами раскаленный кусок железа и добавил уже серьезно, задумчиво: – А наше

дело табак, сынок. Ежели немцев не попрут вскорости, придется нам в Екатеринослав аль в Ростов наворачивать, а то возьмут за жабры и подвешат между небом и землей, как пить дать.

– Да, – пробурчал Артем.

– Как наши там держатся, не пристают ли к ним гайдамаки?

– Да, папаша, кашу заварили, теперь от дома отрекайся.

Машинист выхватил из горна голубоватый жаркий кусок и быстро положил его на наковальню:

– А ну, сыночек, стукни!

Артем схватил тяжелый молот, стоявший у наковальни, с силой взмахнул им над головой и ударил. Сноп ярких искр с легким шуршащим треском разбрызгался по кузне, осветив на мгновение ее темные углы.

Политовский поворачивал раскаленный кусок под мощные удары, и железо послушно плющилось, как размякший воск.

В раскрытые ворота кузни дышала теплым ветром темная ночь.

Озеро внизу – темное, громадное; сосны, охватившие его со всех сторон, кивают могучими головами.

«Как живые», – думает Тоня. Она лежит на покрытой травой выемке на гранитном берегу. Высоко наверху, за выемкой, бор, а внизу, сейчас же у подножия отвеса, озеро. Тень от обступивших скал делает края озера еще более темными.

Это любимый уголок Тони. Здесь, в версте от станции, в старых каменоломнях, в глубоких заброшенных котлованах, забили родники, и теперь образовалось три проточных озера. Внизу, у спуска к озеру, слышен плеск. Тоня поднимает голову и, раздвинув рукою ветви, смотрит вниз: от берега на середину озера сильными бросками плывет загорелое изгибающееся тело. Тоня видит смуглую спину и черную голову купающегося. Он фыркает, как морж, разрезая воду короткими саженками, переворачивается, кувыркается, ныряет и, наконец, устав, ложится на спину, замурив глаза от яркого солнца, замирает, распластав руки и чуть изогнувшись.

Тоня опустила ветку. «Ведь это неприлично», – насмешливо подумала она и принялась за чтение.

Увлеченная книгой, данной ей Лещинским, Тоня не заметила, как кто-то перелез через гранитный выступ, отделявший площадку от бора, и, только когда на книгу из-под ноги перелезавшего упал камешек, вздрогнув от неожиданности, подняла голову и увидела стоявшего на площадке Павку Корчагина. Он стоял, удивленный неожиданной встречей, и, тоже смущенный, собирался уйти.

«Это он сейчас купался», – догадалась Тоня, взглянув на Павкины мокрые волосы.

– Что, испугал вас? Не знал, что вы здесь, так что невзначай сюда – И, проговорив это, Павка взялся рукой за выступ. Он тоже узнал Тоню.

– Вы мне не мешаете. Если хотите, можем даже поговорить о чем-нибудь.

Павка с удивлением глядел на Тоню:

– О чем же мы с вами говорить будем? Тоня улыбнулась.

– Ну, чего же вы стоите? Можете сесть, вот здесь. – И она указала на камень. – Скажите, как вас зовут?

– Я Павка Корчагин.

– А меня зовут Тоня. Вот мы и познакомились. Павка смущенно мял кепку.

– Так вас зовут Павкой? – прервала молчание Тоня. – А почему Павка? Это некрасиво звучит, лучше Павел. Я вас так и буду называть. А вы часто сюда ходите... – Она хотела сказать: купаться, но, не желая открыть, что видела его купающимся, добавила: – гулять?

– Нет, не часто, как случается свободное время, – ответил Павел.

– А вы где-нибудь работаете? – допытывалась Тоня.

– Кочегаром на электростанции.

– Скажите, где вы научились так мастерски драться? – задала вдруг неожиданный вопрос

Тоня.

– А вам-то что до моей драки? – недовольно буркнул Павел.

– Вы не сердитесь, Корчагин, – проговорила она, чувствуя, что Павка недоволен ее вопросом. – Меня это очень интересует. Вот это был удар! Нельзя бить так немилосердно. – И она расхохоталась.

– А вам что, жалко? – спросил Павел.

– Ну, нет, вовсе не жалко, наоборот, Сухарько получил по заслугам. А мне эта сценка доставила много удовольствия. Говорят, что вы часто деретесь.

– Кто говорит? – насторожился Павел.

– Ну вот Виктор Лещинский говорит, что вы профессиональный забияка.

Павел потемнел:

– Виктор – сволочь, белоручка. Пусть скажет спасибо, что ему тогда не попало. Я слышал, как он обо мне говорил, только не хотелось рук марать...

– Зачем вы так ругаетесь, Павел? Это нехорошо, – перебила его Тоня.

Павел нахохлился.

«Какого лешего я с этой чудачкой разговорился? Ишь, командует: то ей „Павка“ не нравится, то „не ругайся“, – думал он.

– Почему вы злы на Лещинского? – спросила Тоня.

– Барышня в штанах, панский сыночек, душа из него вон! У меня на таких руки чешутся: норовит на пальцы наступить, потому что богатый и ему все можно, а мне на его богатство плевать; ежели затронет как-нибудь, то сразу и получит все сполна. Таких кулаком и учить, – говорил он возбужденно.

Тоня пожалела, что затронула в разговоре имя Лещинского. Этот парень имел, видно, старые счеты с изнеженным гимназистом, и она перевела разговор на более спокойную тему: начала расспрашивать Павла о его семье и работе.

Незаметно для себя Павел стал подробно отвечать на расспросы девушки, забыв о своем желании уйти.

– Скажите, почему вы не учились дальше? – спросила Тоня.

– Меня из школы выперли.

– За что? Павка покраснел.

– Я попу в тесто махры насыпал – ну, меня и вытурили. Злой был поп, жизни от него не было. – И Павел обо всем рассказал ей.

Тоня с любопытством слушала. Он забыл свое смущение, рассказывал ей, как старый знакомый, о том, что не вернулся брат; никто из них и не заметил, как в дружеской оживленной беседе они просидели на площадке несколько часов. Наконец Павка опомнился и вскочил:

– Ведь мне на работу уже пора. Вот заболтался, а мне котлы разводить надо. Теперь Данило волюнку подымет. – И он беспокойно заговорил: – Ну, прощайте, барышня, теперь мне надо во весь карьер жарить в город.

Тоня быстро поднялась, надевая жакет:

– Мне тоже пора, пойдемте вместе.

– Ну нет, я бегом, вам со мной не с руки.

– Почему? Мы побежим вместе, вперегонку: посмотрим, кто быстрее.

Павка пренебрежительно посмотрел на нее:

– Вперегонку? Куда вам со мной!

– Ну, увидим, давайте сначала выберемся отсюда.

Павел перескочил камень, подал Тоне руку, и они выбежали в лес на широкую ровную просеку, ведущую к станции.

Тоня остановилась у середины дороги:

– Ну, сейчас побежим: раз, два, три. Ловите! – И сорвалась вихрем вперед. Быстро-быстро замелькали подошвы ее ботинок, синий жакет развевался от ветра.

Павел помчался за ней.

«В два счета догоню», – думал он, летя за мелькающим жакетом, но догнал ее лишь в конце просеки, недалеко от станции. С размаху набежал и крепко схватил за плечи.

– Есть, попалась птичка! – закричал весело, задыхаясь.

– Пустите, больно, – защищалась Тоня.

Стояли оба, запыхавшиеся, с колотившимися сердцами, и выбившаяся из сил от сумасшедшего бега Тоня чуть-чуть, как бы случайно, прижалась к Павлу и от этого стала близкой. Было это одно мгновение, но запомнилось.

– Меня никто догнать не мог, – говорила она, освободившись от его рук.

Сейчас же расстались. И, махнув на прощанье кепкой, Павел побежал в город.

Когда Павел открыл дверь в кочегарку, возившийся уже у топки Данило, кочегар, сердито обернулся:

– Ты бы еще позднее пришел. Что, я за тебя растапливать буду, что ли?

Но Павка весело хлопнул кочегара по плечу и примирительно сказал:

– В один момент, старик, топка будет в ходу. – И завозился у сложенных в штабеля дров.

К полуночи, когда Данило, лежа на дровах, разразился лошадиным храпом, Павел, облизав с масленкой весь двигатель, вытер паклей руки и, вытащив из ящика шестьдесят второй выпуск «Джузеппе Гарибальди», углубился в чтение захватывающего романа о бесконечных приключениях легендарного вождя неаполитанских «краснорубашечников» Гарибальди.

«Посмотрела она на герцога своими прекрасными синими глазами...»

«А у этой тоже синие глаза, – вспомнил Павел. – Она особенная какая-то, на тех, богатеньких, не похожа, – думал он, – и бегают, как черт».

Углубившись в воспоминания о дневной встрече, Павел не слышал нарастающего шума двигателя; тот дрожал от напряжения, громадный маховик бешено вертелся, и бетонная платформа, на которой стоял он, нервно вздрагивала.

Павка метнул взглядом на манометр: стрелка на несколько делений перемахнула вверх за сигнальную красную линию.

– Ах ты, черт! – сорвался Павел с ящика и бросился к отводящему пар рычагу, повернул его два раза, и за стеной кочегарки сипло зашипел выпускаемый из отводной трубы в реку пар. Опустив вниз рычаг, Павка перевел ремень на колесо,двигающее насос.

Павел оглянулся на Данилу; тот безмятежно спал, широко разинув рот, и выводил носом жуткие звуки.

Через полминуты стрелка манометра возвратилась на старое место.

Расставшись с Павлом, Тоня направилась домой. Она думала о только что прошедшей встрече с этим черноглазым юношей и, сама того не сознавая, была рада ей.

«Сколько в нем огня и упорства! И он совсем не такой грубиян, как мне казалось. Во всяком случае, он совсем не похож на всех этих слюнтявых гимназистов...»

Он был из другой породы, из той среды, с которой до сих пор Тоня близко не сталкивалась.

«Его можно приручить, – думала она, – и это будет интересная дружба».

Подходя к дому, Тоня увидела сидящих в саду Лизу Сухарько, Нелли и Виктора Лещинских. Виктор читал. Они, видимо, ожидали ее.

Поздоровалась со всеми, присела на скамью. Среди пустого, легкомысленного разговора Виктор Лещинский, подсев к Тоне, тихо спросил:

– Вы прочли роман?

– Ах да, роман! – спохватилась Тоня. – А я его... – Она чуть не сказала, что книга забыта у озера.

– Ну, как он вам понравился? – Виктор внимательно посмотрел на нее.

Тоня подумала и, медленно чертя носком ботинка по песку дорожки какую-то замысловатую фигуру, подняла голову и посмотрела на него:

– Нет, я начала другой роман, более интересный, чем тот, что вы мне принесли.

– Вот как, – обиженно протянул Виктор. – А кто автор? – спросил он.

Тоня посмотрела на него искрящимися, насмешливыми глазами:

– Никто...

– Тоня, приглашай гостей в комнату, вас ожидает чай! – позвала стоявшая на балконе мать Тони.

Взяв под руки обеих девушек, Тоня направилась к дому. А Виктор, идя сзади, ломал голову над сказанными Тоней словами, не понимая их смысла.

Первое, еще не осознанное, но незаметно вошедшее в жизнь молодого кочегара чувство было так ново, так непонятно волнующе. Оно встревожило озорного, мятежного парня.

Была Тоня дочерью главного лесничего, а главный лесничий был для него все равно, что адвокат Лещинский.

Выросший в нищете и голоде, Павел враждебно относился к тем, кто был в его понимании богатым. К своему чувству подходил Павел с осторожностью и опаской, он не считал Тоню, как дочь каменотеса Галину, своей, простой, понятной и недоверчиво относился к Тоне, готовый дать резкий отпор всякой насмешке и пренебрежению к нему, кочегару, со стороны этой красивой и образованной девушки.

Целую неделю не виделся Павел с дочерью лесничего и сегодня решил пойти на озеро. Пошел нарочно мимо ее дома, надеялся встретить. Медленно идя вдоль забора усадьбы, в самом конце сада заметил знакомую матроску. Поднял лежащую у забора сосновую шишку, бросил ее, целясь в белую блузку.

Тоня быстро обернулась. Заметив Павла, подбежала к забору. Весело улыбнулась, подавая ему руку.

– Наконец-то вы пришли, – обрадовано сказала она. – Где вы пропадали все время? Я была у озера, книгу там забыла. Думала, вы придете. Идите сюда, в сад.

Павка отрицательно махнул головой:

– Не пойду.

– Почему? – Брови ее удивленно поднялись.

– Да отец-то ваш, пожалуй, ругаться станет. Вам же и попадет за меня. Зачем, скажет, такого обормота привела.

– Вы чепуху говорите, Павел, – рассердилась Тоня. – Идите сейчас же сюда. Мой отец никогда ничего не скажет, вот вы сами увидите. Идемте.

Она побежала, открыла калитку, и Павел не совсем уверенно пошел за ней.

– Вы любите читать книги? – спросила она, когда они сели за круглый, вкопанный в землю стол.

– Очень люблю, – оживился Павел.

– Какая из прочитанных книг вам больше всего нравится?

Павел, подумав, ответил:

– «Джузеппа Гарибальди».

– «Джузеппе Гарибальди», – поправила Тоня. – Вам очень нравится эта книга?

– Да, я его шестьдесят восемь выпусков прочел, каждую полочку покупаю по пять штук. Вот человек был Гарибальди! – с восхищением произнес Павел. – Вот герой! Это я понимаю! Сколько ему приходилось биться с врагами, а всегда его верх был. По всем странам плавал!

Эх, если бы он теперь был, я к нему пристал бы. Он себе мастеровых набирал в компанию и все за бедных бился.

– Хотите, я вам покажу нашу библиотеку? – сказала Тоня и взяла его за руку.

– Ну нет, в дом не пойду, – наотрез отказался Павел.

– Отчего вы упрямитесь? Или боитесь?

Павел посмотрел на свои босые ноги, не блиставшие чистотой, и поскреб затылок:

– А меня мамаша или отец не попрут оттуда?

– Бросьте наконец эти разговоры, или я окончательно рассержусь! – вспылила Тоня.

– Что ж, Лещинский к себе в дом не пускает, в кухне беседует с нашим братом. Я к ним ходил по одному делу, так Нелли даже в комнату не пустила, – наверное, чтобы я им ковры не попортил, черт ее знает, – улыбнулся Павка.

– Идем, идем. – Она взяла его за плечи и дружески втокнула на балкон.

Проведя его через столовую в комнату с громадным дубовым шкафом, Тоня открыла дверцы. Павел увидел несколько сотен книг, стоявших ровными рядами, и поразился невиданному богатству.

– Мы сейчас найдем для вас интересную книгу, и вы обещайте приходить и брать их у нас постоянно. Хорошо?

Павка радостно кивнул головой:

– Я книжки люблю.

Провели они несколько часов очень хорошо и весело. Она познакомила его со своей матерью. Это оказалось не так уж страшно, и мать Тони Павлу понравилась.

Тоня привела Павла в свою комнату, показывала ему свои книги и учебники.

У туалетного столика стояло небольшое зеркало. Подведя к нему Павла, Тоня, смеясь, сказала:

– Почему у вас такие дикие волосы? Вы их никогда не стрижете и не причесываете?

– Я их начистую снимаю, когда отрастают, что больше с ними делать? – неловко оправдывался Павка.

Тоня, смеясь, взяла с туалета гребешок и быстрыми движениями причесала его взлохмаченные кудри.

– Вот сейчас совсем другое, – говорила она, оглядывая Павла. – А волосы надо красиво подстричь, а то вы как бирюк ходите.

Тоня посмотрела критическим взглядом на его вылинявшую, рыжую рубашку и потрепанные штаны, но ничего не сказала.

Павел этот взгляд заметил, и ему стало обидно за свой наряд.

Расставаясь с ним, Тоня приглашала его приходить в дом. И взяла с него слово прийти через два дня вместе удить рыбу.

В сад Павел выбрался одним махом через окно: проходить опять через комнаты и встречаться с матерью ему не хотелось.

С отсутствием Артема в семье Корчагина стало туго: заработка Павла не хватало.

Мария Яковлевна решила поговорить с сыном: не следует ли ей опять приниматься за работу, кстати, Лещинским нужна была кухарка. Но Павел запротестовал:

– Нет, мама, я найду себе еще добавочную работу. На лесопилке нужны раскладчики досок. Полдня буду там работать, и этого нам хватит с тобой, а так уж не ходи на работу, а то Артем сердиться будет на меня, скажет: не мог обойтись без того, чтобы мать на работу не послать.

Мать доказывала необходимость ее работы, но Павел заупрямился, и она согласилась.

На другой день Павел уже работал на лесопилке, раскладывал для просушки свеженалипленные доски. Встретил там знакомых ребят: Мишку Левчукова, с которым учился в

школе, и Кулишова Ваню. Взялись они с Мишей вдвоем сдельно работать. Заработок получался довольно хороший. День проводил Павел на лесопилке, а вечером бежал на электростанцию.

К концу десятого дня принес Павел матери заработанные деньги. Отдавая их, он смущенно потоптался и наконец попросил:

– Знаешь, мама, купи мне сатиновую рубашку, синюю, – помнишь, как у меня в прошлом году была. На это половина денег пойдет, а я еще заработаю, не бойся, а то у меня вот эта уже старая, – оправдывался он, как бы извиняясь за свою просьбу.

– Конечно, конечно, куплю, Павлуша, сегодня же, а завтра сошью. У тебя, верно, рубашки нет новой. – Она ласково глядела на сына.

Павел остановился у парикмахерской и, нащупав в кармане рубль, вошел в дверь.

Парикмахер, разбитной парень, заметив вошедшего, привычно кивнул на кресло:

– Садитесь.

Усевшись в глубокое, удобное кресло, Павел увидел в зеркале смущенную, растерянную физиономию.

– Под машинку? – спросил парикмахер.

– Да, то есть нет, в общем, подстригите. Ну, как это у вас называется? – и сделал отчаянный жест рукой.

– Понимаю, – улыбнулся парикмахер.

Через четверть часа Павел вышел вспотевший, измученный, но аккуратно подстриженный и причесанный. Парикмахер долго и упорно трудился над непослушными вихрами, но вода и расческа победили, и волосы прекрасно лежали.

На улице Павел вздохнул свободно и натянул поглубже кепку.

«Что мать скажет, когда увидит?»

Ловить рыбу, как обещал, Павел не пришел, и Тоню это обидело.

«Не очень внимателен этот мальчишка-кочегар», – с досадой подумала она, но, когда Павел не пришел и в следующие дни, ей стало скучно.

Она уже собиралась идти гулять, когда мать, приоткрыв дверь в ее комнату, сказала:

– К тебе, Тонечка, гости. Можно?

В дверях стоял Павел, и Тоня его даже сразу не узнала.

На нем была новенькая синяя сатиновая рубашка и черные штаны. Начищенные сапоги блестели, и – что сразу заметила Тоня – он был подстрижен, волосы не торчали космами, как раньше, – и черномазый кочегар предстал совсем в ином свете. Тоня хотела высказать свое удивление, но, не желая смущать и без того чувствовавшего себя неловко парня, сделала вид, что не заметила этой разительной перемены.

Она принялась было укорять его:

– Как вам не стыдно! Почему вы не пришли рыбу ловить? Так-то вы свое слово держите?

– Я на лесопилке работал эти дни и не мог прийти.

Не мог он сказать, что для того, чтобы купить себе рубашку и штаны, он работал эти дни до изнеможения.

Но Тоня догадалась об этом сама, и вся досада на Павла прошла бесследно.

– Идемте гулять к пруду, – предложила она.

И они пошли в сад, а оттуда на дорогу.

И уже как другу, как большую тайну, рассказал Тоне об украденном у лейтенанта револьвере и обещал ей в один из ближайших дней забраться глубоко в лес и пострелять.

– Смотри ты меня не выдай, – неожиданно сказал он ей «ты».

– Я тебя никогда никому не выдам, – торжественно обещала Тоня.

## Глава четвертая

Острая, беспощадная борьба классов захватывала Украину.

Все большее и большее число людей бралось за оружие, и каждая схватка рождала новых участников.

Далеко в прошлое отошли спокойные для обывателя дни.

Кружила метель, встряхивала орудийными выстрелами ветхие домишки, и обыватель жался к стенкам подвальчиков, к вырытым самодельным траншеям.

Губернию залила лавина петлюровских банд разных цветов и оттенков: маленькие и большие батки, разные голубы, архангелы, ангелы, гордый и нескончаемое число других бандитов.

Бывшее офицерье, правые и левые украинские эсеры – всякий решительный авантюрист, собравший кучку головорезов, объявлял себя атаманом, иногда разворачивал желто-голубое знамя петлюровцев и захватывал власть в пределах своих сил и возможностей.

Из этих разношерстных банд, подкрепленных кулачеством и галицийскими полками осадного корпуса атамана Коновальца, создавал свои полки и дивизии «головной атаман Петлюра». В эту эсеровско-кулацкую муть стремительно врывались красные партизанские отряды, и тогда дрожала земля под сотнями и тысячами копыт, тачанок и артиллерийских повозок.

В тот апрель мятежного девятнадцатого года насмерть перепуганный, обалделый обыватель, продирая утром заспанные глаза, открывая окна своих домишек, тревожно спрашивал ранее проснувшегося соседа:

– Автоном Петрович, какая власть в городе?

И Автоном Петрович, подтягивая штаны, испуганно озирался:

– Не знаю, Афанас Кириллович. Ночью пришли какие-то. Посмотрим: ежели евреев грабить будут, то, значит, петлюровцы, а ежели «товарищи», то по разговору слышать сразу. Вот я и высматриваю, чтобы знать, какой портретик повесить, чтобы не влипнуть в историю, а то, знаете, Герасим Леонтьевич, мой сосед, недосмотрел хорошо, да возьми и вывеси Ленина, а к нему как наскочат трое: оказывается, из петлюровского отряда. Как глянут на портрет, да за хозяина! Всыпали ему, понимаете, плеток с двадцать. «Мы, – говорят, – с тебя, сукина сына, коммунистическая морда, семь шкур сдерем». Уж он как ни оправдывался, ни кричал – не помогло.

Замечая кучки вооруженных, шедших по шоссе, обыватель закрывал окна и прятался. Не ровен час...

А рабочие с затаенной ненавистью смотрели на желто-голубые знамена петлюровских громил. Бессильные против этой волны самостийного шовинизма,<sup>2</sup> оживали лишь тогда, когда в городок клином врезались проходившие красные части, жестоко отбивавшиеся от обступивших со всех концов жовтоблакитников.<sup>3</sup> День-другой алело родное знамя над управой, но часть уходила, и сумерки надвигались опять.

Сейчас хозяин города – полковник Голуб, – краса и гордость» Заднепровской дивизии.

Вчера его двухтысячный отряд головорезов торжественно вступил в город. Пан полковник ехал впереди отряда на великолепном жеребце и, несмотря на апрельское теплое солнце, был в кавказской бурке и в смушковой запорожской шапке с малиновой «китыцей», в черкеске с полным вооружением: кинжал, сабля чеканного серебра.

Красив пан полковник Голуб: брови черные, лицо бледное с легкой желтизной от бесконечных попок. В зубах люлька. Был пан полковник до революции агрономом на плантациях

---

<sup>2</sup> Самостийный шовинизм – проповедь травли и угнетения других народов, характерная для украинских революционеров, требовавших превратить Украину в буржуазную республику.

<sup>3</sup> Жовто-блакитний – по-украински – желто-голубой.

сахарного завода, но скучна эта жизнь, не сравнять с атаманским положением, и выплыл агроном в мутной стихии, загулявшей по стране, уже паном полковником Голубом.

В единственном театре городка был устроен пышный вечер в честь прибывших. Весь «цвет» петлюровской интеллигенции присутствовал на нем: украинские учителя, две поповские дочери – старшая, красавица Аня, младшая – Дина, мелкие подпанки, бывшие служащие графа Потоцкого, и кучка мещан, называвшая себя «вильным казачеством», украинские эсеровские последыши.

Театр был битком набит. Одетые в национальные украинские костюмы, яркие, расшитые цветами, с разноцветными бусами и лентами, учительницы, поповны и мещаночки были окружены целым хороводом звякающих шпорами старшин, точно срисованных со старых картин, изображавших запорожцев.

Гремел полковой оркестр. На сцене лихорадочно готовились к постановке «Назара Стодоли».

Не было электричества. Пану полковнику доложили об этом в штабе. Он, собиравшийся лично почтить своим присутствием вечер, выслушал своего адъютанта, хорунжего Паляныцю, а по-настоящему – бывшего подпоручика Полянцева, бросил небрежно, но властно:

– Чтобы свет был. Умри, а монтера найди и пусти электростанцию.

– Слушаюсь, пане полковнику.

Хорунжий Паляныця не умер и монтеров достал. Через час двое петлюровцев вели Павла на электростанцию. Таким же образом доставили монтера и машиниста. Паляныця сказал коротко:

– Если до семи часов не будет света, повешу всех троих! – Он указал рукой на железную штангу.

Эти кратко сформулированные выводы сделали свое дело, и через установленный срок был дан свет.

Вечер был уже в полном разгаре, когда явился пан полковник со своей подругой, дочерью буфетчика, в доме которого он жил, пышногрудой, с ржаными волосами девицей.

Богатый буфетчик обучал ее в гимназии губернского города.

Усевшись на почетные места, у самой сцены, пан полковник дал знак, что можно начинать, и занавес тотчас же взвился. Перед зрителями мелькнула спина убежавшего со сцены режиссера.

Во время спектакля присутствовавшие старшины со своими дамами изрядно накачивались в буфете первачом, самогоном, доставляемым туда вездесущим Паляныцей, и всевозможными яствами, добытыми в порядке реквизиции. К концу спектакля все сильно охмелели.

Вскочивший на сцену Паляныця театрально взмахнул рукой и провозгласил:

– Шановни добродии, зараз почнем танци.

В зале дружно заплодировали. Все вышли во двор, давая возможность петлюровским солдатам, мобилизованным для охраны вечера, вытащить стулья и освободить зал.

Через полчаса в театре шел дым коромыслом.

Разошедшиеся петлюровские старшины лихо отплясывали гопака с раскрасневшимися от жары местными красавицами, и от топота их тяжелых ног дрожали стены ветхого театра.

В это время со стороны мельницы в город въезжал вооруженный отряд конных.

На околице петлюровская застава с пулеметом, заметив движущуюся конницу, забеспокоилась и бросилась к пулемету. Щелкнули затворы. В ночь пронесся резкий крик:

– Стой! Кто идет?

Из темноты выдвинулись две темные фигуры, и одна из них, приблизившись к заставе, громким пропойным басом прорычала:

– Я – атаман Павлюк со своим отрядом, а вы – голубовские?

– Да, – ответил вышедший вперед старшина.

– Где мне разместить отряд? – спросил Павлюк.

– Я сейчас спрошу по телефону штаб, – ответил ему старшина и скрылся в маленьком доме у дороги.

Через минуту выбежал оттуда и приказал:

– Снимай, хлопцы, пулемет с дороги, давай проезд пану атаману.

Павлюк натянул поводья, останавливая лошадь около освещенного театра, вокруг которого шло оживленное гулянье.

– Ого, тут весело, – сказал он, оборачиваясь к остановившемуся рядом с ним есаулу. – Слезем, Гукмач, и мы гульнем кстати. Баб подберем себе подходящих, здесь их до черта. Эй, Сталежко, – крикнул он, – размести хлопцев по квартирам! Мы тут остаемся. Конвой со мной. – И он грузно спрыгнул с пошатнувшейся лошади на землю.

У входа в театр Павлюка остановили двое вооруженных петлюровцев:

– Билет?

Но тот презрительно посмотрел на них, отодвинул одного плечом. За ним таким же порядком продвинулось человек двенадцать из его отряда. Их лошади стояли тут же, привязанные у забора.

Новоприбывших сразу заметили. Особенно выделялся своей громадной фигурой Павлюк, в офицерском, хорошего сукна, френче, в синих гвардейских штанах и в мохнатой папаше. Через плечо – маузер, из кармана торчит ручная граната.

– Кто это? – зашептали стоявшие за кругом танцующих, где сейчас отплясывал залихватскую метелицу помощник Голуба.

В паре с ним кружилась старшая поповна. Взметнувшиеся вверх веером юбки открывали восхищенным воякам шелковое трико не в меру расходившейся поповны.

Раздав плечами толпу, Павлюк вошел в самый круг.

Павлюк мутным взглядом вперился на ноги поповны, облизнул языком пересохшие губы и пошел прямо через круг к оркестру, стал у рампы, махнул плетеной нагайкой:

– Жарь гопака!

Дирижирующий оркестром не обратил на это внимания. Тогда Павлюк резко взмахнул рукой, вытянул его вдоль спины нагайкой. Тот подскочил как ужаленный.

Музыка сразу оборвалась, зал мгновенно затих.

– Это наглость! – вскипела дочь буфетчика. – Ты не должен этого позволить, – нервно жала она локоть сидевшего рядом Голуба.

Голуб тяжело поднялся, толкнул ногой стоявший перед ним стул, сделал три шага к Павлюку и остановился, подойдя к нему вплотную. Он сразу узнал Павлюка. Были у Голуба еще не сведенные счета с этим конкурентом на власть в уезде.

Неделю тому назад Павлюк подставил пану полковнику ножку самым свинским образом.

В разгар боя с красным полком, который не впервой трепал голубовцев, Павлюк, вместо того чтобы ударить большевиков с тыла, вломился в местечко, смял легкие заставы красных и, выставив заградительный заслон, устроил в местечке небывалый грабеж. Конечно, как и подобало «щирому» петлюровцу, погром коснулся еврейского населения.

Красные в это время разнесли в пух и прах правый фланг голубовцев и ушли.

А теперь этот нахальный ротмистр ворвался сюда и еще смеет бить в присутствии его, пана полковника, его же капельмейстера. Нет, этого он допустить не мог. Голуб понимал, что, если он не осадит сейчас зазнавшегося атаманишку, авторитет его в полку будет уничтожен.

Впившись друг в друга глазами, стояли они несколько секунд молча.

Крепко зажав в руке рукоять сабли и другой нащупывая в кармане наган, Голуб гаркнул:

– Как ты смеешь бить моих людей, подлец?

Рука Павлюка медленно поползла к кобуре маузера.

– Легче, пане Голуб, легче, а то можно сбиться с каблука. Не наступайте на любимый мозоль, осержусь.

Это переполнило чашу терпения.

– Взять их, выбросить из театра и всыпать каждому по двадцать пять горячих! – прокричал Голуб.

На павлюковцев, как стая гончих, кинулись со всех сторон старшины.

Охнул, как брошенная об пол электролампочка, чей-то выстрел, и по залу завертелись, закружились, как две собачьи стаи, дерущиеся. В слепой драке рубили друг друга саблями, хватали за чубы и прямо за горло, а от сцепившихся шарахались с поросычьим визгом насмерть перепуганные женщины.

Через несколько минут обезоруженных павлюковцев, избивая, выволокли во двор и выбросили на улицу.

Павлюк потерял в драке папаху, ему расквасили лицо, разоружили, – он был вне себя. Вскочив со своим отрядом на лошадей, он помчался по улице.

Вечер был сорван. Никому не приходило на ум веселиться после всего происшедшего. Женщины наотрез отказались танцевать и требовали отвезти их домой, но Голуб стал на дыбы.

– Никого из зала не выпускать, поставить часовых, – приказал он.

Паляныця поспешно выполнял приказания.

На посыпавшиеся протесты Голуб упрямо отвечал:

– Танцы до утра, шановни добродийки и добродии. Я сам танцую первый тур вальса.

Музыка вновь заиграла, но веселиться все же не пришлось. Не успел полковник пройти с поповной один круг, как ворвавшиеся в двери часовые закричали:

– Театр окружают павлюковцы!

Окно у сцены, выходившее на улицу, с треском разлетелось. В проломленную раму просунулась удивленная морда тупорылого пулемета. Она глупо ворочалась, нащупывая метавшиеся фигуры, и от нее, как от черта, отхлынули на середину зала.

Паляныця выстрелил в тысячесвечовую лампу в потолке, и та, лопнув, как бомба, осыпала всех мелким дождем стекла.

Стало темно. С улицы кричали:

– Выходи все во двор! – и неслась жуткая брань.

Дикие, истерические крики женщин, бешеная команда метавшегося по залу Голуба, ставшего собрать растерявшихся старшин, выстрелы и крики на дворе – все это слилось в невероятный гам. Никто не заметил, как выскочивший выюном Паляныця, проскочив задним ходом на соседнюю пустынную улицу, мчался к голубовскому штабу.

Через полчаса в городе шел форменный бой. Тишину ночи всколыхнул непрерывный грохот выстрелов, мелкой дробью засыпали пулеметы. Совершенно отупевшие обыватели соскочили со своих теплых кроватей – прилипли к окнам.

Выстрелы стихают, только на краю города отрывисто, по-собачьи, лает пулемет.

Бой утихает, брезжит рассвет...

Слухи о погроме ползли по городку. Заползли они и в еврейские домишки, маленькие, низенькие, с косоглазыми оконцами, примостившиеся каким-то образом над грязным обрывом, идущим к реке. В этих коробках, называющихся домами, в невероятной тесноте жила еврейская беднота.

В типографии, в которой уже второй год работал Сережа Брузжак, наборщики и рабочие были евреи. Сжился с ними Сережа, как с родными. Дружной семьей держались все против хозяина, отъезжавшего, самодовольного господина Блюмштейна. Между хозяином и работавшими в типографии шла непрерывная борьба. Блюмштейн норовил урвать побольше, заплатить поменьше и на этой почве не раз закрывалась на две-три недели типография: бастовали

типографщики. Было их четырнадцать человек. Сережа, самый младший, вертел по двенадцати часов колесо печатной машины.

Сегодня Сережа заметил беспокойство рабочих. Последние тревожные месяцы типография работала от заказа к заказу. Печатали воззвания «головного» атамана.

Сережу отозвал в угол чахоточный наборщик Мендель.

Смотря на него своими грустными глазами, он сказал:

– Ты знаешь, что в городе будет погром? Сережа удивленно посмотрел:

– Нет, не знаю.

Мендель положил высохшую, желтую руку на плечо Сережи и по-отцовски доверчиво заговорил:

– Погром будет, это факт. Евреев будут избивать. Я тебя спрашиваю: ты хочешь помочь своим товарищам в этой беде или нет?

– Конечно, хочу, если смогу. Говори, Мендель. Наборщики прислушивались к разговору.

– Ты славный парень, Сережа, мы тебе верим. Ведь твой отец тоже рабочий. Побеги сейчас домой и поговори с отцом: согласится ли он к себе спрятать несколько стариков и женщин, а мы заранее договоримся, кто у вас прятаться будет. Потом поговори с семьей, у кого еще можно спрятать. Русских эти бандиты пока не трогают. Беги, Сережа, время не терпит.

– Хорошо, Мендель, будь уверен, я сейчас к Павке и Климке сбегаяю, – у них обязательно примут.

– Подожди минутку, – забеспокоился Мендель, удерживая собравшегося уходить Сережу. – Кто такие эти Павка и Клипка? Ты их хорошо знаешь?

Сережа уверенно кивнул головой:

– Ну как же, мои кореш: Павка Корчагин, его брат – слесарь.

– А, Корчагин, – успокоился Мендель. – Этого я знаю, с ним вместе жил в одном доме. Этому можно. Иди, Сережа, и возвращайся скорее с ответом.

Сережа выскочил на улицу.

Погром начался на третий день после боя павлюковского отряда с голубовцами.

Разбитый и отброшенный от города, Павлюк убрался восвояси и занял соседнее местечко, потеряв в ночном бою два десятка человек. Столько же недосчитали голубовцы.

Убитых поспешно отвезли на кладбище и в тот же день похоронили, без особой пышности, потому что хвастаться здесь было нечем. Погрызлись, как две бродячие собаки, два атамана, и устраивать шумиху с похоронами было неудобно. Паляныця хотел было хоронить с треском, объявив Павлюка красным бандитом, но против этого был эсеровский комитет, во главе которого стоял поп Василий.

Ночное столкновение вызвало в голубовском полку недовольство, в особенности в конвойной сотне Голуба, где убитых насчитывалось больше всего, и, чтобы потушить это недовольство и поднять дух, Паляныця предложил Голубу «облегчить существование», как он издевательски выражался о погроме. Он доказывал Голубу необходимость этого, ссылаясь на недовольство в отряде. Тогда полковник, не желавший было сначала нарушать спокойствия в городе перед свадьбой с дочерью буфетчика, под угрозами Паляныцы согласился.

Правда, немного смущала пана полковника эта операция в связи с вступлением его в эсеровскую партию. Опять же враги могут создать вокруг его имени нежелательные разговоры, что вот он, полковник Голуб, – погромщик, и обязательно будут на него наговаривать «головному» атаману. Но пока что Голуб от «головного» мало зависел, снабжался со своим отрядом на свой риск и страх. Да «головной» и сам прекрасно знал, что за братия у него служит, и сам не раз денежки требовал на нужды директории от так называемых реквизиций, а насчет славы погромщика, то у Голуба она уже была довольно солидная. Прибавить к ней он мог очень немного.

Разбой начался ранним утром.

Городок плавал в предрассветной серой дымке. Пустые улицы, как измокшие полотняные полосы, беспорядочно опутывавшие несуразно застроенные еврейские кварталы, были безжизненны. Подслеповатые окошки завешены и наглухо закрыты ставнями.

Снаружи казалось, что кварталы спали крепким предутренним сном, но в середине домишек не спали. Семьи, одетые, готовились к начинающемуся несчастью, сбивались в какой-нибудь комнатухе, и только маленькие дети, не понимавшие ничего, спали безмятежно-спокойным сном на руках матерей.

Долго будил в это утро голубовского адъютанта Паляныцю начальник голубовского конвоя Саломыга, черный, с цыганским лицом, с сизым рубцом от удара сабли на щеке.

Тяжело просыпался адъютант. Никак оторваться не мог от дурацкого сна. Все еще его царапал когтями по горлу кривляющийся горбатый черт, от которого не было отбоя всю ночь. И, когда наконец поднял разрывающуюся от боли голову, понял: это будит Саломыга.

– Да вставай же, холера! – тряс его за плечо Саломыга. – Поздно уже, пора начинать. Ты бы еще больше выпил.

Паляныця совсем проснулся, сел и, скривившись от изжоги, сплюнул горьковатую слюну.

– Чего начинать? – вылупил он бессмысленные глаза на Саломыгу.

– Как – чего? Жидов потрошить. Не знаешь? Паляныця вспомнил: да, верно, он совсем забыл, вчера здорово выпили на хуторе, куда забрался пан полковник со своей невестой и кучкой собутыльников.

Убраться из города Голубу на время погрома было удобно.

Потом можно было сказать, что произошло недоразумение в его отсутствие, а Паляныця успеет все обделать на совесть. О, этот Паляныця большой специалист по части «облегчения»!

Он вылил ведро воды на голову, и к нему вернулась способность соображать. Он зашнырял по штабу, отдавая различные приказания.

Конвойная сотня была уже на конях. Предусмотрительный Паляныця, во избежание возможных осложнений, приказал выставить заставу, отделяющую рабочий поселок и станцию от города.

В саду усадьбы Лещинских был поставлен пулемет, смотревший на дорогу. В случае, если бы рабочие подумали вмешаться, их бы встретили свинцом.

Когда все приготовления были окончены, адъютант и Саломыга вскочили на лошадей.

Уже трогаясь в путь, Паляныця вспомнил:

– Стой, забыл было. Давай две подводы: мы Голубу приданое постараемся. Го-го-го... Первая добыча, как всегда, командиру, а первая баба, ха-ха-ха, мне, адъютанту. Понял, балда стоеросовая? – Последнее относилось к Саломыге.

Тот блеснул на него желтоватым глазом:

– Всем хватит.

Тронулись по шоссе. Впереди – адъютант и Саломыга, сзади – беспорядочной ватагой конвойники.

Дымка рассвета прояснилась. У двухэтажного дома с проржавевшей вывеской «Галантерейная торговля Фукса» Паляныця натянул поводья.

Серая тонконогая кобыла его беспокойно ударила копытом по камню.

– Ну, с божьей помощью отсюда и начнем, – сказал Паляныця, соскакивая на землю.

– Эй, хлопцы, слазь с коней! – обернулся он к обступившему его конвою. – Представление начинается, – пояснил он. – Хлопцы, по черепкам никого не стукать, на то будет еще час; баб тоже, если не велика охота, до вечера продержитесь.

Один из конвойников, оскалив крепкие зубы, запротестовал:

– Как же так, пане хорунжий, а ежели по доброму согласию? Кругом заржали. Паляныця посмотрел на говорившего с восхищенным одобрением:

– Ну, конечно, если по доброму согласию, валяйте, этого запретить никто не имеет права.

Подойдя к закрытой двери магазина, Паляныця с силой толкнул ее ногой, но крепкая дубовая дверь даже не дрогнула.

Начинать надо было не отсюда. Адъютант завернул за угол, направился к двери, ведущей в квартиру Фукса, придерживая рукой саблю. За ним двинулся Саломыга.

В доме сразу услышали стук копыт по мостовой, и, когда топот затих у лавки и сквозь стену донеслись голоса, сердца словно оторвались и тела как бы замерли. В доме было трое.

Богатый Фукс еще вчера удрал из города со своими дочерьми и женой, а в доме оставил стеречь добро прислугу Риву, тихую забитую девятнадцатилетнюю девушку. Чтобы ей не страшно было в пустой квартире, он предложил привести своих стариков – отца с матерью – и всем троим жить до его возвращения.

Хитрый коммерсант успокаивал слабо возражавшую Риву, что погрома, может быть, и не будет, что им взять с нищих? А он уже ей, Риве, по приезде подарит на платье.

Все трое в мучительной надежде прислушивались: авось проедут мимо, может, они ошиблись, может, те остановились не у их дома, может, это просто показалось. Но, как бы опровергая эти надежды, глухо ударили в дверь магазина.

Старый, с серебряной головой, с детски испуганными голубыми глазами Пейсах, стоявший у двери, ведущей в магазин, зашептал молитву. Он молился всемогущему Иегове со всей страстностью убежденного фанатика. Он просил его отвести несчастье от дома сего, и стоявшая рядом с ним старуха не сразу разобрала за шепотом его молитвы шум приближающихся шагов.

Рива забила в самую дальнюю комнату, за большой дубовый буфет.

Резкий, грубый удар в дверь отозвался судорожной дрожью в теле стариков.

– Открывай! – Удар резче первого, и брань озлобленных людей.

Но нет сил поднять руки и откинуть крючок. Снаружи часто забили прикладами. Дверь запрыгала на засовах и, сдаваясь, затрещала.

Дом наполнился вооруженными людьми, рыскавшими по углам. Дверь в магазине была вышиблена ударом приклада. Туда вошли, открыли засовы наружной двери.

Начался грабеж.

Когда подводы были нагружены доверху материей, обувью и прочей добычей, Саломыга отправился на квартиру Голуба и, уже возвращаясь в дом, услышал дикий крик.

Паляныця, предоставив своим потрошить магазин, вошел в комнату. Обведя троих своими зеленоватыми рысьими глазами, сказал, обращаясь к старикам:

– Убирайтесь!

Ни отец, ни мать не трогались.

Паляныця шагнул вперед и медленно потянул из ножен саблю.

– Мама! – раздирающе крикнула дочь. Этот крик и услышал Саломыга.

Паляныця обернулся к подоспевшим товарищам и бросил коротко:

– Вышвырните их! – Он указал на стариков. И когда тех с силой вытолкнули за дверь, Паляныця сказал подошедшему Саломыге: – Ты постой здесь за дверью, а я с девочкой поговорю кое о чем.

Когда старик Пейсах кинулся на крик к двери, тяжелый удар в грудь отбросил его к стене. Старик задохнулся от боли, но тогда в Саломыгу волчицей вцепилась вечно тихая старая Тойба:

– Ой, пустите, что вы делаете?

Она рвалась к двери, и Саломыга не мог оторвать ее судорожно вцепившиеся в жупан старческие пальцы.

Опомнившийся Пейсах бросился к ней на помощь:

– Пустите, пустите!.. О, моя дочь!

Они вдвоем оттолкнули Саломыгу от двери. Он злобно рванул из-за пояса наган и ударил кованой рукояткой по седой голове старика. Пейсах молча упал.

А из комнаты рвался крик Ривы.

Когда выволокли на улицу обезумевшую Тойбу, улица огласилась нечеловеческими криками и мольбами о помощи.

Крики в доме прекратились.

Выйдя из комнаты, Паляныця, не глядя на Саломыгу, взявшегося уже за ручку двери, остановил его:

– Не ходи – задохлась: я ее немного подушкой прикрыл.

И, шагнув через труп Пейсаха, вступил в темную густую жижу.

– Неудачно как-то началось, – выдавил он, выйдя на улицу.

За ними молча следовали остальные, и от их ног на полу комнаты и на ступеньках оставались кровавые отпечатки.

А в городе уже шел разгром. Вспыхивали короткие волчьи схватки среди не поделивших добычу громил, кое-где взмetyвались выхваченные сабли. И почти всюду шел мордобой.

Из пивной выкатывали на мостовую дубовые десятиведерные бочки.

Потом ползли по домам.

Никто не оказывал сопротивления. Рыскали по комнатушкам, бегло шарили по углам и уходили навьюченные, оставив сзади взрыхленные груды тряпья и пуха распоротых подушек и перин. В первый день было лишь две жертвы: Рива и ее отец, но надвигавшаяся ночь несла с собой неотвратимую гибель.

К вечеру вся разношерстная шакалья стая перепилась досиня. Замутневшие от угара петлюровцы ждали ночи.

Темнота развязала руки. В черной темени легче раздавить человека: даже шакал и тот любит ночь, а ведь и он нападает только на обреченных.

Многим не забыть этих страшных двух ночей и трех дней. Сколько исковерканных, разорванных жизней, сколько юных голов, поседевших в эти кровавые часы, сколько пролито слез. И кто знает, были ли счастливее те, что остались жить с опустевшей душой, с нечеловеческой мукой о несмываемом позоре и издевательствах, с тоской, которую не передать, с тоской о невозвратно погибших близких. Безучастные ко всему, лежали по узким переулкам, судорожно запрокинув руки, юные девичьи тела – истерзанные, замученные, согнутые.

И только у самой речки, в домике кузнеца Наума шакалы, бросившиеся на его молодую жену Сарру, получили жестокий отпор. Атлет-кузнец, налитый силой двадцати четырех лет, со стальными мускулами молотобойца, не отдал своей подруги.

В жуткой короткой схватке в маленьком домике разлетелись, как гнилые арбузы, две петлюровские головы. Страшный в своем гневе обреченного, кузнец яростно защищал две жизни, и долго трещали сухие выстрелы у речки, куда сбегались почуявшие опасность голубовцы. Расстреляв все патроны, Наум последнюю пулю отдал Сарре, а сам бросился навстречу смерти со штыком наперевес. Он упал, подкошенный свинцовым градом на первой же ступеньке, придавив землю своим тяжелым телом.

На сытых лошадях появились в городке крепкие мужички из ближних деревень, нагружали подводы тем, что облюбовывали, и, сопровождаемые своими сынами и родственниками из голубовского отряда, спешили обернуться два-три раза в деревню и обратно.

Сережа Брузжак, укрывший с отцом в подвале и на чердаке половину типографских товарищей, возвращался через огород к себе во двор; он увидел бежавшего по шоссе человека.

Взмахивая руками, в длиннополом заплатанном сюртуке, без шапки, с помертвелым от ужаса лицом, задыхаясь, бежал старик еврей. Сзади, быстро нагоняя, изогнувшись для удара, летел на сером коне петлюровец. Слыша цокот лошади за спиной, старик поднял руки, как бы защищаясь. Сережа рванулся на дорогу, бросился к лошади, загорочил собой старика:

– Не тронь, бандит, собака!

Не желая удерживать удара сабли, конник полоснул плашмя по юной белокурой головке.

## Глава пятая

Красные упорно теснили части «головного» атамана Петлюры. Полк Голуба был вызван на фронт. В городке остались небольшое тыловое охранение и комендатура.

Зашевелились люди. Еврейское население, пользуясь временным затишьем, хоронило убитых, и в маленьких домишках еврейских кварталов появилась жизнь.

Тихими вечерами издали доносился неясный грохот. Где-то недалеко шли бои.

Железнодорожники расползались со станции по деревням в поисках работы.

Гимназия была закрыта.

В городе объявлено военное положение.

Непроглядная, нахмуренная ночь.

В такие ночи даже широко раскрытые зрачки не могут одолеть темноты, и люди движутся ощупью, вслепую, рискуя в любой канаве свернуть голову.

Обыватель знает: в такое время сиди дома и зря не жги свет. Свет может притянуть кого-нибудь непрошеного. Лучше всего в темноте, спокойнее. Есть люди, которым всегда неспокойно. Пускай себе ходят, до них обывателю нет дела. Но сам он не пойдет. Будьте уверены, не пойдет.

И вот в такую ночь двигался человек.

Добравшись до домика Корчагина, он осторожно постучал в оконную раму и, не получив ответа, постучал вторично, сильнее и настойчивее.

Павка во сне видит: на него наводит пулемет какое-то странное существо, на человека не похожее; он пытается убежать, но бежать некуда, а пулемет как-то страшно стучит.

Стекло дребезжит от настойчивого стука.

Соскочив с постели, Павел подошел к окну, пытаясь рассмотреть, кто стучит. Но, кроме неясного, темного силуэта, ничего не увидел.

Он был дома один. Мать уехала к старшей дочери, муж которой работал машинистом на сахарном заводе. А Артем кузнечил в соседнем селе, отмахивая молотом на харчи.

Стучать мог только Артем.

Павел решил открыть окно.

– Кто там? – бросил он в темноту.

За окном шевельнулась фигура, и грубый, придушенный бас ответил:

– Это я, Жухрай.

На подоконник легли две руки, и вровень с лицом Павла выросла голова Федора.

– Я к тебе ночевать пришел. Принимаешь, братишка? – зашептал он.

– Ну конечно, – дружески ответил Павел. – Какой может быть разговор? Лезь прямо в окно.

Грузная фигура Федора втиснулась в окно.

Прикрывая его за собой, Федор не сразу отошел от окна.

Он стоял, прислушиваясь, и, когда луна выскользнула из-за туч и стала видна дорога, он оглядел ее внимательно и обернулся к Павлу:

– Мы мамашу не разбудим? Она спит, наверное?

Павел сказал Федору, что в доме, кроме него, никого нет. Матрос почувствовал себя свободнее и заговорил громче:

– За меня, братишка, принялись эти шкуродеры всерьез. Сводят счеты за последнюю бузу на станции. Если б братва была дружнее, то мы смогли бы во время погрома устроить «серо-жупанникам» хороший прием. Но, понимаешь, народ еще не решается лезть в огонь. Сорвалось. Теперь за мной и гонятся. Два раза мне облаву устраивали. Сегодня чуть было не

засыпался. Подхожу, понимаешь, к дому, конечно, с задворок, стал у сарая. Смотрю: в саду кто-то стоит, к дереву прижался, но штык выдал. Я, понятно, отдал концы. Вот к тебе и притопал. Здесь я, братишка, на несколько дней на якорь сяду. Возраженьев не имеешь? Ну и хорошо.

Жухрай, сопя, стаскивал забрызганные грязью сапоги.

Павел был рад приходу Жухрая. Последнее время электростанция не работала, и Павлу было скучно одному в пустой квартире.

Легли спать. Павел заснул сразу, а Федор долго курил. Затем поднялся с кровати и, тихо ступая босыми ногами, подошел к окну. Он долго смотрел на улицу; вернувшись к кровати, заснул, побежденный усталостью. Рука его, засунутая под подушку, лежала на тяжелом кольце, согревая его своей теплотой.

Неожиданный ночной приход Жухрая и совместная жизнь с ним в течение этих восьми дней оказались для Павла очень значительными. В первый раз услышал он от матроса так много волнующего, важного и нового, и эти дни стали для молодого кочегара решающими.

Матрос, прижатый, как в мышеловке, двумя засадами, пользуясь вынужденным бездельем, весь пыл своей ярости и жгучей ненависти к задушившим край «жовто-блакитникам» передавал жадно слушавшему Павлу.

Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего не решенного. Матрос твердо знал свою дорогу, и Павел стал понимать, что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями: социалисты-революционеры, социал-демократы, польская партия социалистов, – это злобные враги рабочих, и лишь одна революционная, непоколебимая, борющаяся против всех богатых, – это партия большевиков.

Раньше Павел в этом безнадежно путался.

И большой, сильный человек, убежденный большевик, обветренный морскими шквалами, член РСДРП (б) с тысяча девятьсот пятнадцатого года, балтийский матрос Федор Жухрай рассказывал жестокую правду жизни смотревшему на него зачарованными глазами молодому кочегару.

– Я, братишка, в детстве тоже был вот вроде тебя, – говорил он. – Не знал, куда силенки девать, выпирала из меня наружу непокорная натура. Жил в бедности. Глядишь, бывало, на сытых да наряженных господских сыночков, и ненависть охватывает. Бил я их частенько беспощадно, но ничего из этого не получалось, кроме страшенной трепки от отца. Биться в одиночку – жизни не перевернуть. У тебя, Павлуша, все есть, чтобы быть хорошим бойцом за рабочее дело, только вот молод очень и понятие о классовой борьбе очень слабое имеешь. Я тебе, братишка, расскажу про настоящую дорогу, потому что знаю: будет из тебя толк. Тихоньких да примазанных не терплю. Теперь на всей земле пожар начался. Восстали рабы и старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна братва отважная, не маменькины сынки, а народ крепкой породы, который перед дракой не лезет в щели, как таракан от света, а бьет без пощады.

Он с силой ударил кулаком по столу.

Жухрай встал, засунув руки в карманы, нахмуренный, зашагал по комнате.

Федора угнетала бездеятельность. Он очень жалел, что остался в этом городишке, и, считая дальнейшее пребывание здесь бесполезным, твердо решил перебраться через фронт навстречу красным частям.

В городе оставалась группа из девяти членов партии, которые должны были вести работу.

«Обойдетесь и без меня, а я больше не могу сидеть сложа руки. Довольно, и так угробил десять месяцев», – с раздражением думал Жухрай.

– Кто ты такой, Федор? – спросил его однажды Павел. Жухрай встал, засунув руки в карманы. Он сразу не понял вопроса.

– Разве ты не знаешь, кто я такой?

– Я думаю, что ты большевик или коммунист, – тихо ответил Павел.

Жухрай рассмеялся, шутливо стукнув в свою широкую грудь, затянутую в полосатый тельник:

– Это ясно, братишка. Это такой же факт, как и то, что большевик и коммунист одно и то же. – И он фазу стал серьезным. – Раз ты это понимаешь, то помни, что никому нигде об этом говорить не следует, если не хочешь, чтобы из меня кишки выпустили. Понял?

– Понял, – твердо ответил Павел.

На дворе послышались голоса, и дверь, не постучав, открыли. Рука Жухрая быстро скользнула в карман, но сейчас же выбралась оттуда. В комнату входил с перевязанной головой Сережа Брузжак, похудевший, бледный. За ним вошли Валя и Климка.

– Здорово, чертяка, – улыбаясь, подал Павке руку Сережа – Мы к тебе втроем в гости. Валя меня одного не пускает, боится. А Климка Валю не пускает одну, тоже боится. Он хотя и рыжий, но все же разбирается, кого куда пускать одного опасно.

Валя шутливо закрыла ему ладонью рот.

– Вот болтун-то, – засмеялась она – Он сегодня Климке жить не дает.

Климка добродушно смеялся, показывая белые зубы:

– Что взять с больного человека? Котелок поврежден, вот и заговаривается.

Все засмеялись.

Сережа, еще не окрепший от удара, примостился на Павкиной кровати, и вскоре между друзьями шла оживленная беседа. Всегда веселый, неунывающий, Сережа, теперь притихший и подавленный, рассказывал Жухраю, как его ударил петлюровец.

Жухрай знал всех пришедших к Павлу. Он не раз бывал у Брузжаков. Ему нравилась эта молодежь, еще не нашедшая своей дороги в водовороте борьбы, но ясно выражавшая стремление своего класса. И он внимательно слушал рассказы юношей о том, как каждый из них помогал прятать у себя еврейские семьи, спасая их от погрома В этот вечер он много говорил о большевиках, о Ленине, помогая каждому из них понять происходящее.

Поздно вечером проводил Павел гостей.

Жухрай по вечерам уходил и возвращался ночью. Он договаривался перед отъездом с остающимися товарищами об их работе.

В эту ночь Жухрай не вернулся. Проснувшись утром, Павел увидел пустую кровать.

Охваченный каким-то неясным предчувствием, Корчагин быстро оделся и вышел из дому. Заперев квартиру и положив ключ в условленное место, Павел пошел к Климке, надеясь узнать у него что-нибудь о Федоре. Мать Климки, приземистая, широколицая женщина, с крапленным оспой лицом, стирала белье и на вопрос Корчагина, не знает ли она, где Федор, ответила отрывисто:

– А что, мне только и делов, что твоего Федора смотреть? Из-за него, черта корявого, у Зозулихи весь дом перевернули. Тебе-то на что сдался он? Что за компания такая? Нашлись приятели: Климка, ты... – Она с ожесточением нажимала на белье.

Мать у Климки была с язычком, сварливая. От Климки завернул Павел к Сереже. Рассказал о своей тревоге. Валя вмешалась в разговор:

– Чего ты тревожишься? Он, может, у знакомых остался. – Но в голосе ее не было уверенности.

У Брузжаков Павлу не сиделось. Он ушел, несмотря на уговоры остаться обедать.

Подходил к дому с надеждой увидеть Жухрая.

Дверь была заперта на замок. Остановился с тяжелым чувством: не хотелось идти в пустую квартиру.

Несколько минут стоял на дворе, раздумывая, и, направляемый каким-то неясным побуждением, пошел в сарай. Пробравшись под крышу, отмахиваясь от кружев паутины, вытащил из заветного уголка завернутый в тряпки тяжелый «манлихер».

Выйдя из сарая и ощущая в кармане волнующую тяжесть револьвера, пошел на станцию.

О Жухрае ничего не узнал и, возвращаясь обратно, около знакомой усадьбы лесничего замедлил шаг. С неясной для себя надеждой смотрел в окна дома, но сад и дом были безлюдны. Когда усадьба осталась позади, оглянулся на покрытые проржавленными прошлогодними листьями дорожки сада. Зброшенным, запустелым выглядел он. Видно, не касалась его рука заботливого хозяина, и от этой безлюдности и тишины большого старого дома стало еще грустнее.

Последняя размолвка с Тоней была самой серьезной из всех бывших ранее. Произошла она неожиданно, почти месяц назад.

Медленно шагая в город, засунув глубоко в карманы руки, Павел вспоминал о том, как вспыхнула размолвка.

В одну из случайных встреч на дороге Тоня позвала его к себе в гости:

– Отец и мама уходят к Больианским на именины. Дома буду я одна. Приходи, Павлуша, мы будем читать очень интересную книгу Леонида Андреева – «Сашка Жигулев». Я уже прочла ее, но с тобой с удовольствием перечту. Мы очень хорошо проведем вечер. Придешь?

Из-под белой шапочки, плотно охватывавшей густые каштановые волосы, на Корчагина ожидающе смотрели ее огромные глаза.

– Приду.

И они расстались.

Павел спешил к машинам, и от мысли, что впереди целый вечер в обществе Тони, топки, казалось, горели ярче и поленья потрескивали веселей.

В тот вечер на его стук в широкую парадную дверь открыла Тоня. Она, немного смутившись, сказала:

– У меня гости. Я их не ожидала, Павлуша, но ты не должен уходить.

Корчагин повернулся к двери, собираясь уйти.

– Идем, – схватила она его за рукав. – Им будет полезно познакомиться с тобой. – И, обхватив рукой, она провела его через столовую к себе.

Войдя в свою комнату, она обратилась к сидевшим молодым людям и, улыбаясь, сказала:

– Вы не знакомы? Мой друг Павел Корчагин.

За маленьким столом посредине комнаты сидели: Лиза Сухарько, хорошенькая, смуглая, с капризно очерченным ротиком, с кокетливой прической, гимназистка, какой-то незнакомый Павлу долговязый юноша в аккуратненьком черном пиджаке, с прилизанными, блестящими от вежеталя волосами, серыми глазами и скучающим взглядом, а между ними в щегольской гимназической куртке Виктор Лещине – кий. Его первого заметил Павел, как только Тоня открыла дверь.

Лещинский сразу узнал Корчагина, и его тонкие стрельчатые брови удивленно приподнялись.

Павел стоял у двери несколько секунд молча, обжигая Виктора недобрым взглядом. Это неловкое молчание Тоня поспешила нарушить, приглашая Павла войти, и, обращаясь к Лизе, сказала:

– Познакомься.

Сухарько, с любопытством рассматривая вошедшего, приподнялась.

Павел круто повернулся и быстро пошел через полутемную столовую к выходу. Тоня нагнала его уже на крыльце и, схватив за плечи, взволнованно сказала:

– Зачем ты ушел? Я ведь нарочно хотела, чтобы они познакомились с тобой.

Но Павел снял с плеч ее руки и резко ответил:

– Нечего меня напоказ выставять перед этим обормотом! Мне с этой компанией не с руки вместе сидеть. Тебе они, может, и приятны, а я их ненавижу. Не знал, что ты с ними дружбу водишь, а то никогда бы к тебе не пришел.

Тоня, сдерживая возмущение, прервала его:

– Кто тебе дал право так со мной разговаривать? Я тебя не спрашиваю, с кем ты дружишь и кто к тебе приходит.

Павел, сходя по ступенькам в сад, резко бросил:

– Ну и пусть себе ходят, но я больше не приду. – И побежал к калитке.

С тех пор с Тоней не виделся. Во время погрома, когда Павел с монтером прятали на электростанции спасавшиеся еврейские семьи, размолвка с Тоней забылась. Сегодня же снова захотелось встретиться с ней.

Исчезновение Жухрая и ожидавшее его одиночество в квартире действовали угнетающе. Серое полотнище шоссе, еще не высохшее от весенней грязи, с выбоинами, наполненными бурой кашей, поворачивало вправо.

За нелепо выдвинутым на самую дорогу домом с облупленной, шелудивой стеной сходились две улицы.

На перекрестке, у разгромленного киоска с продавленной дверью, с перевернутой вверх ногами вывеской «Продажа минеральных вод» Виктор Лещинский прощался с Лизой.

Задерживая ее руку в своей, он говорил, выразительно смотря в ее глаза:

– Вы придете? Не обманете? Лиза кокетливо отвечала:

– Приду, приду, ждите.

И, уходя, улыбнулась ему обещающими карими с поволокой глазами.

Пройдя десяток шагов, Лиза увидела вышедших на шоссе из-за поворота двух людей. Впереди шел коренастый рабочий с широкой грудью, в расстегнутом пиджаке, из-под которого виднелся полосатый тельник, в черной, надвинутой на лоб кепке, с темно-синим кровоподтеком у глаза.

Он шагал твердо слегка выгнутыми ногами, одетыми в желтые короткие сапоги.

В трех шагах позади него, почти упираясь штыком в его спину, шел петлюровец в сером жупане, с двумя подсумками на поясе.

Из-под мохнатой шапки смотрели в затылок арестованного два узеньких настороженных глаза. Желтые, прокуренные махрой усы топорщились в стороны.

Лиза, слегка замедлив шаг, перешла на другую сторону шоссе. А сзади нее выходил на шоссе Павел.

Повернув вправо по дороге к дому, он тоже увидел идущих. Ноги приросли к земле. В переднем он сразу узнал Жухрая.

«Так вот почему он не вернулся!»

Жухрай приближался. Сердце Корчагина заколотилось со страшной силой. Мысли бежали одна за другой, их нельзя было схватить и оформить. Слишком мал был срок для решения. Одно было ясно: Жухрай погиб.

И, смотря на подходивших, Павел затерялся в рое охвативших его чувств.

«Что делать?»

В последнюю минуту вспомнил: в кармане револьвер. Как только пройдут мимо, выстрелить в спину вот этому, с винтовкой, и тогда Федор свободен. И от мгновенного решения прекратилась пляска мыслей. Крепко, до боли сжались зубы. Ведь только вчера Федор говорил ему: «А для этого нужна братва отважная...»

Павел быстро оглянулся назад. Улица, ведущая в город, была свободна. На ней не было ни души. Впереди торопилась пройти женская фигурка в весеннем коротком пальто. Она не помешает. Второй улицы вбок от перекрестка он видеть не мог. Лишь вдалеке по дороге на станцию виднелись человеческие фигуры.

Павел подошел к краю шоссе. Жухрай увидел Корчагина, когда тот был от него на расстоянии нескольких шагов.

Вскинул на него одним глазом. Вздогнули густые брови. Узнал и от неожиданности задержал шаг. Его спина наткнулась на конец штыка.

– Ну, ты, шевелись, а то прикладом огрею! – взвизгнул конвоир резкой фистулой.

Жухрай зашагал шире. Он что-то хотел сказать Павлу, но сдержался и как бы в знак приветствия махнул рукой.

Опасаясь привлечь внимание рыжеусого, Павел, пропуская мимо себя Жухрая, отвернулся в сторону, как будто ему было безразлично все происходящее.

Но голову сверлила тревожная мысль: «Если я выстрелю в него и промахнусь, то пуля может попасть в Жухрая...»

Разве можно было думать, когда петлюровец уже был рядом?

И случилось так: с Павлом поравнялся рыжеусый конвоир; Корчагин неожиданно бросился к нему и, схватив винтовку, резким движением пригнул ее к земле.

Штык с лязгом скребнул о камень.

Петлюровец не ожидал нападения и на миг оторопел, но сейчас же рванул винтовку к себе изо всех сил. Наваливаясь всем телом, Павел удержал ее. Бабахнул выстрел. Пуля ударилась о камень и, взвизгнув, отскочила рикошетом в канаву.

От выстрела Жухрай отпрянул в сторону и обернулся. Конвойный остервенело рвал винтовку из рук Павла. Он крутил ее, выворачивая юноше руки. Но последний не выпускал винтовку. Тогда разъяренный петлюровец резким движением свалил Павку на землю. Но и эта попытка освободить винтовку не удалась. Падая на мостовую, Павел увлек за собой и конвоира, и не было сил, которые заставили бы его выпустить оружие в такую минуту.

В два прыжка Жухрай очутился рядом. Железный кулак его, описав дугу, опустился на голову конвоира, а через секунду, оторванный от лежащего на земле Корчагина, получив два свинцовых удара в лицо, петлюровец тяжелым мешком свалился в канаву.

Те же сильные руки подняли с земли Павла и поставили на ноги.

Виктор, отошедший от перекрестка на сотню шагов, шел, насвистывая «Сердце красавицы склонно к измене». Он был еще под влиянием встречи с Лизой и ее обещания прийти завтра на свиданье к заброшенному заводу.

Среди заядлых ухажеров гимназии ходили слухи о Лизе Сухарько, как о смелой в вопросах любви девушке.

Наглый и самоуверенный Семен Заливанов однажды рассказал Виктору, что он овладел Лизой. И хотя Лещинский не совсем верил Семке, все же Лиза была очень интересным и заманчивым объектом, и завтра он решил узнать, правду ли говорил Заливанов.

«Если только придет, то я буду решителен. Ведь позволяет она себя целовать. И если Семка не врал...» Его мысли прервались. Он посторонился, пропуская мимо двух петлюровцев. Один из них ехал верхом на куцехвостой лошадке, помахивая брезентовым ведром, – видимо, поить лошадь. Другой, в короткой поддевке, в широчайших синих штанах, держась рукой за колено верхового, что-то весело рассказывал.

Пропустив их, Виктор собирался идти дальше, когда ухнувший на шоссе выстрел остановил его. Обернувшись, Виктор увидел, как верховой рванул коня и понесся на выстрел. За ним бежал другой, придерживая рукой саблю.

Лещинский побежал за ними и, когда был уже близко около шоссе, услышал другой выстрел. Из-за поворота на Виктора ошалело метнулся верховой. Он бил лошадь ногами и брезентовым ведром и, заскочив в первые ворота, закричал находившимся во дворе:

– Хлопцы, в ружье, там нашего убили!

Через минуту со двора выбежало несколько человек, щелкая затворами.

Виктора арестовали.

На шоссе собралось несколько человек. Среди них и Лиза, которую задержали как свидетельницу.

От испуга она осталась на месте, когда мимо нее пробежали Жухрай и Корчагин. Она с удивлением узнала в напавшем на петлюровца юноше того, с которым ее хотела познакомить Тоня.

Один за другим они перепрыгнули через забор чьей-то усадьбы, и сейчас же на шоссе вылетел конный. Увидя убежавшего с винтовкой Жухрая и конвоира, силившегося подняться с земли, он погнал лошадь к забору.

Жухрай обернулся, вскинул винтовку и выстрелил в него. Конник шарахнулся обратно.

Еле шевеля разбитыми губами, конвоир рассказал о том, что произошло.

– Что же ты, балда, с-под носу упустил арестанта? Теперь получишь двадцать пять шом-полов по задней части.

Конвоир озлобленно огрызнулся:

– Ты очень разумный, я вижу. Упустил с-под носу! Кто же его знал, что та стервятница на меня кинется, як скаженна!

Лизу тоже допрашивали. Она рассказала то же, что и конвоир, но скрыла, что знает напавшего. Их все же повели в комендатуру.

Только вечером по приказанию коменданта их отпустили. Он предложил даже лично проводить Лизу домой. Но она отказалась. От коменданта пахло водкой, и его предложение не предвещало ей ничего хорошего.

Провожал Лизу Виктор.

До станции было далеко, и идя под руку с Лизой, Виктор радовался происшествию.

– А вы знаете, кто освободил арестованного? – спросила Лиза, когда подходила к дому.

– Нет, откуда же мне знать.

– Вы помните тот вечер, когда Тоня хотела нас познакомить с одним молодым человеком? Виктор остановился.

– С Павлом Корчагиным? – спросил он удивленно.

– Да, кажется, его фамилия Корчагин. Помните, он ушел так странно? Так это был он. Виктор стоял огорошенный.

– А вы не ошиблись? – спросил он Лизу.

– Нет, я прекрасно запомнила его лицо.

– Почему же вы этого не сказали коменданту?

Лиза возмутилась:

– Вы думаете, что я могу сделать такую подлость?

– Что вы считаете подлостью? Рассказать, кто напал на конвоира, по-вашему, подлость?

– А по-вашему честно? Вы забыли, что они делают. Вы не знаете, сколько в гимназии евреев-сирот, и вы хотите, чтобы я им еще рассказала о Корчагине? Благодарю вас, не думала.

Лещинский не ожидал такого ответа. В его расчеты не входило ссориться с Лизой, и он старался заговорить о другом:

– Вы не сердитесь, Лиза, я пошутил. Я не знал, что вы такая принципиальная.

– Шутка у вас получилась нехорошая, – сухо ответила Лиза.

У дома Сухарько Виктор, прощаясь, спросил:

– Вы придете, Лиза?

И услышал ее неопределенное:

– Не знаю...

Шагая в город, Виктор размышлял: «Ну, если вы, мадемуазель, считаете нечестным, то я об этом совершенно другого мнения. Конечно, мне безразлично, кто кого освобождал».

Ему, родовитому польскому шляхтичу Лещинскому, были противны и те и эти. Все равно скоро придут польские легионы, и тогда-то вот и будет настоящая власть, истинно шляхетская,

Речи Посполитой. Но в данном случае есть возможность ликвидировать мерзавца Корчагина. Они ему живо голову свернут.

Виктор оставался в городке один. Жил у тети, жены вице-директора сахарного завода. А отец с матерью и Нелли давно жили в Варшаве, где Сигизмунд Лещинский занимал видное положение.

Подойдя к комендатуре, Виктор вошел в раскрытую дверь.

Через некоторое время он шел в сопровождении четырех петлюровцев к дому Корчагиных.

Указывая на светившееся окно, он тихо сказал:

– Вот здесь. – И, обратившись к стоявшему рядом хорунжему, спросил: – Мне можно идти?

– Пожалуйста. Мы справимся одни. Благодарю за услугу. Виктор быстро зашагал по тротуару.

Павел, получив последний удар в спину, ткнулся вытянутыми руками в стену темной комнаты, куда его привели. Нащупав руками подобие нар, он сел, измученный, избитый, подавленный.

Его арестовали тогда, когда он этого не ожидал. «Как могли узнать про него петлюровцы? Ведь его никто не видел. Что теперь будет? Где Жухрай?»

Он расстался с матросом в доме Климки. Павел пошел к Сережке, а Жухрай дожидался вечера, чтобы выбраться из города.

«Как хорошо, что я спрятал револьвер в вороньем гнезде, – подумал Павел. – Ведь если бы они его нашли, тогда мне конец. Но как они узнали?» Этот вопрос мучил его неизвестностью.

Мало чем воспользовались петлюровцы из имущества Корчагиных. Свой костюм и гармонь брат забрал в село. Мать увезла свой сундучок, и шарившим по углам петлюровцам досталось очень немного.

Зато не забыть Павлу пути от дома до комендантской. Ночь темная, хоть глаза выколи. Небо заволокло тучами, и, подталкиваемый с боков и сзади немилосердными пинками, он шел бессознательно, в состоянии какого-то отупения.

За дверью слышались голоса. В соседней комнате помещалась комендантская охрана. Под дверью яркая полоска света. Корчагин встал и, пробираясь вдоль стены, ощупью обошел комнату. Напротив нар нащупал окно с прочной зубчатой решеткой. Потрогал рукой – заделана крепко. Здесь, видно, раньше была кладовка.

Пробравшись к двери, постоял с минуту, прислушиваясь. Потом нажал легонько на ручку. Дверь противно скрипнула.

– Сволочь немазаная! – выругался Павел.

В открывшуюся узенькую щель увидел чьи-то заскорузлые с раскоряченными пальцами ноги на краю нар. Еще легкий нажим на ручку, и дверь уже без стеснения заверещала. С нар поднялась заспанная, растрепанная фигура и, зверски скребя всей пятерней вшивую голову, многословно заговорила. Когда восьмиэтажное ругательство, произнесенное лениво-однотонным голосом, было закончено, фигура, дотронувшись до стоявшего у головы ружья, флегматично изрекла:

– Закрой дверь, а выглянь у меня еще разок, так получишь пятерку в...

Павел прикрыл дверь. В соседней комнате гоготали.

Много передумал он в эту ночь. Первая попытка вмешаться в борьбу окончилась для него, Корчагина, так неудачно. С первого же шага схватили и заперли, как мышь в ящике.

И когда, сидя, забылся в тревожной полудреме, выплыл образ матери, ее худенькое, морщинистое лицо с такими знакомыми, родными глазами. Плыла мысль: «Хорошо, что ее нет, меньше горя».

От окна на полу вырисовывался серый квадрат.

Темнота понемногу отступала. Приближался рассвет.

## Глава шестая

В большом старом доме светилось лишь одно окно, задернутое занавесью. Во дворе залаял внушительным басом привязанный на цепь Трезор.

Сквозь дремоту Тоня слышит негромкий голос матери:

– Нет, она еще не спит. Заходите, Лиза.

Легкие шаги и ласковое, порывистое объятие подруги рассеивают обрывки дремоты.

Тоня улыбается усталой улыбкой:

– Хорошо, Лиза, что пришла: у нас радость – вчера миновал кризис у папы, и сегодня он спит спокойно целый день. И мы тоже с мамой отдыхали от бессонных ночей. Рассказывай, Лиза, все новости. – Тоня притягивает подругу к себе на диван.

– О, новостей очень много! Часть из них я могу рассказать только тебе, – смеется Лиза, лукаво поглядывая на Екатерину Михайловну.

Мать Тони, представительная дама, несмотря на свои тридцать шесть лет, с живыми движениями молодой девушки, с умными серыми глазами, с некрасивым, но приятным, энергичным лицом, улыбнулась.

– Я с удовольствием оставлю вас одних через несколько минут. А теперь рассказывайте общедоступные новости, – шутила она, подвигая стул к дивану.

– Первая новость – мы больше заниматься не будем. Школьный совет решил выдать седьмому классу аттестат об окончании. Я очень рада, – живо рассказывала Лиза. – Мне так надоела эта алгебра и геометрия! И для чего учить все это? Мальчишки, возможно, дальше будут учиться, хотя они сами не знают где. Везде фронты, сражения. Ужас... Нас выдадут замуж, а от жены никакой алгебры не требуется. – Говоря это, Лиза засмеялась.

Посидев немного с девушками, Екатерина Михайловна ушла к себе.

Лиза подвинулась ближе к Тоне и, обняв подругу, шепотом рассказывала ей о столкновении на перекрестке.

– Представь себе мое удивление, Тонечка, когда я узнала в бегущем... как бы ты думала, кого?

Тоня, с любопытством слушавшая рассказ, недоуменно пожала плечами.

– Корчагина! – выпалила залпом Лиза. Тоня вздрогнула и болезненно съежилась:

– Корчагина?

Лиза, довольная произведенным эффектом, уже описывала ссору с Виктором.

Увлеченная рассказом, Лиза не заметила, какой бледностью покрылось лицо Тумановой, как тонкие ее пальцы нервно перебирали ткань синей блузки. Не знала Лиза, как тревожно сжималось сердце Тони, не знала, почему так беспокойно вздрагивают густые ресницы прекрасных глаз.

Тоня уже не слышала рассказа о пьяном хорунжем, у нее одна мысль: «Виктор Лещинский знает, кто напал. Зачем Лиза сказала ему?» И невольно эту фразу произнесла вслух.

– Что сказала? – не поняла Лиза.

– Зачем ты рассказала Лещинскому о Павлуше, то есть о Корчагине? Ведь он его выдаст...

Лиза возразила:

– Ну нет! Не думаю. Зачем ему в конце концов, это делать? Тоня порывисто села, до боли сжав руками колени.

– Ты, Лиза, ничего не понимаешь! Они с Корчагиным враги, и к этому прибавляется еще одно обстоятельство... И ты сделала большую ошибку, рассказав Виктору о Павлуше.

Лиза теперь лишь заметила волнение Тони, а это случайно уроненное «о Павлуше» открыло ей глаза на вещи, о которых у нее были лишь смутные догадки.

Невольно чувствуя себя виноватой, она смущенно притихла.

«Значит, это правда, – думала она. – Странно, у Тони вдруг такое увлечение – кем? – простым рабочим...» Ей очень хотелось поговорить на эту тему, но из чувства деликатности сдерживалась. Стараясь чем-нибудь загладить свою вину, она схватила руки Тони:

– Ты очень волнуешься, Тонечка? Тоня рассеянно ответила:

– Нет, может быть, Виктор честнее, чем я о нем думаю.

Вскоре пришел Демьянов, скромный мешковатый юноша, их одноклассник. До самого его прихода разговор у девушек не вязался.

Проводив товарищей, Тоня долго стояла одна. Прислонясь к калитке, она смотрела на темную полосу дороги, ведущей в город. На нее дышал насыщенный холодной влажностью и весенней прелью вечный бродяга, ветер. Недобро, мутно-красными зрачками мигали вдали окошечки городских усадеб. Вот он там, этот чужой ей городок. В нем, под одной из крыш, не зная об угрозе, он, ее мятежный товарищ. И, возможно, забыл о ней. Сколько дней пробежало чередой после их последней встречи? Он был неправ тогда, но все давно уже забыто. Завтра она увидит его, и опять вернется дружба, волнующая, хорошая. Она вернется, Тоня это знает. Лишь бы не предала ночь. Ночь недобрая какая-то, словно притаилась, поджидает... Холодно.

Кинув последний взгляд на дорогу, Тоня вошла в дом. В постели, кутаясь в одеяло, она стала засыпать с мыслью: лишь бы не предала ночь!..

Ранним утром, когда в доме еще спали, Тоня проснулась, быстро оделась. Тихо, чтобы не разбудить никого, вышла во двор, отвязала Трезора, большого лохматого пса, и пошла с ним в город. Напротив дома Корчагина остановилась на минуту в нерешительности. Затем, толкнув калитку, вошла во двор. Трезор бежал впереди, помахивая хвостом...

Этим же ранним утром возвратился из села Артем. Приехал на телеге с кузнецом, у которого работал. Взвалив на плечи мешок с заработанной мукой, пошел по двору. За ним кузнец нес остальные пожитки. У раскрытой двери Артем сбросил с плеч мешок, позвал:

– Павка!

Но ответа не получил.

– Тащи в дом, чего там! – сказал подошедший кузнец. Положив пожитки на кухне, Артем вошел в комнату – и остолбенел. Все было перерыто, перевернуто, старое тряпье разбросано на полу.

– Что за черт! – недоумевающе буркнул Артем, оборачиваясь к кузнецу.

– Да, беспорядок, – поддакнул тот.

– Куда мальчишка девался? – начинал злиться Артем. Но квартира была пуста, и спрашивать было не у кого. Кузнец простился и уехал.

Артем вышел во двор и стал осматриваться кругом.

«Не пойму, что за буза такая! Квартира открыта, Павки нет».

Сзади него послышались шаги. Артем обернулся. Перед ним стоял, насторожив уши, громадный пес. От калитки к дому шла незнакомая девушка.

– Мне нужно видеть Павла Корчагина, – сказала она негромко, рассматривая Артема.

– Мне тоже его надо видеть. Черт его знает, где он подевался! Я вот приехал, квартира открытая, а его нету. А вы к нему, что ли? – обратился он к девушке.

В ответ услышал вопрос:

– Вы брат Корчагина – Артем?

– Да, а что такое?

Но девушка, не отвечая ему, смотрела с тревогой на открытую дверь. «Почему я не пришла вчера? Неужели, неужели?...» И тяжесть в груди налегла еще сильнее.

– Вы застали квартиру открытой, и Павла не было? – спросила она смотревшего на нее Артема.

– А вы что, собственно, имеете к Павлу?

Тоня подвинулась к нему ближе и, оглядываясь вокруг, порывисто заговорила:

– Я точно не знаю, но если Павла нет дома, то его арестовали.

– За что? – нервно вздрогнул Артем.

– Зайдемте в комнату, – сказала Тоня.

Артем слушал ее молча. Когда она передала ему всё, что знала, он пришел в отчаяние.

– Эх, будь ты трижды проклята! Не хватало печали – черти накачали... – подавленно пробормотал он. – Теперь попятно, почему такой кавардак в квартире. Внесла же нечистая сила мальчишку в эту историю... Где его теперь искать? А вы, барышня, чья будете?

– Я дочь лесничего Туманова. Павла я знаю.

– А-а... – неопределенно протянул Артем. – Вот, муку вез подкормить мальчишку, а тут вот что...

Тоня и Артем молча смотрели друг на друга.

– Я ухожу. Вы, может быть, его найдете, – проговорила тихо Тоня, прощаясь с Артемом. – Вечером зайду к вам, вы мне расскажете.

Артем молча кивнул головой.

В углу окна жужжала проснувшаяся от зимней спячки тощая муха. На краю старого, протертого дивана, опершись руками о колени, сидела молодая крестьянка, уставившись бесцельным взглядом в грязный пол.

Комендант, закусив углом рта папироску, размашисто дописывал лист и под подписью «комендант города Шепетовки хорунжий» с удовольствием поставил витиеватую подпись с замысловатым крючком на конце. В дверях послышалось звяканье шпор. Комендант поднял голову.

Перед ним стоял с перевязанной рукой Саломыга

– Каким ветром занесло? – приветствовал его комендант.

– Хорош ветер, руку разнес богунец до кости. Саломыга, не обращая внимания на присутствие женщины, крепко выругался.

– Что же ты, поправляться сюда приехал?

– Поправляться будем на том свете. На фронте жмут, аж вода капает.

Комендант остановил его, указав головой на женщину:

– Поговорим потом.

Саломыга грузно сел на табурет и снял кепку с кокардой, на которой был вырезан эмалевый трезубец – государственный знак УНР.<sup>4</sup>

– Меня Голуб прислал, – начал он негромко. – Скоро сюда дивизия сичевых стрелцов перейдет. Вообще здесь каша заварится, так я должен навести порядок. Возможно, головной придет, с ним какой-нибудь заграничный гусь, так чтоб здесь никто не разговаривал насчет «облегчения». А ты что пишешь?

Комендант передвинул папироску в другой угол рта:

– Тут один стервец у меня сидит, мальчишка. Понимаешь, на станции попался тот самый Жухрай, помнишь, который железнодорожников натравил на нас.

– Ну-ну? – заинтересованно придвинулся Саломыга.

– Ну, понимаешь, Омельченко, балда, станционный комендант, с одним казаком послал его к нам, а этот, что у меня сидит, отбил его середь бела дня. Разоружили казака, выбили ему зубы и – поминай как звали. Жухрая след простыл, а этот попался. Вот почитай-ка материал. – Он подвинул Саломыге пачку исписанной бумаги.

---

<sup>4</sup> УНР – Украинская народная республика. Так лживо называли Украину контрреволюционеры, временно захватившие власть.

Тот бегло просмотрел ее, перелистывая левой, здоровой рукой. Прочитав, уставился на коменданта:

– И ты от него ничего не добился? Комендант нервно потянул козырек фуражки:

– Пять дней с ним быюсь. Молчит. «Ничего, – говорит, – не знаю, я не освобождал». Выродок какой-то бандитский. Понимаешь, конвойный его опознал, чуть не задушил здесь, гаденыша. Я насилу оторвал. Омельченко казаку на станции двадцать пять шомполов вписал за арестанта, так он ему тут жару и дал. Держать больше нечего, я посылаю в штаб для разрешения вывести в расход.

Саломыга презрительно сплюнул:

– Был бы он в моих руках, заговорил бы. Не тебе, попович, дознанья делать. Какой с семинариста комендант? Ты ему шомполов дал?

Комендант вскипел:

– Ты уж слишком себе позволяешь. Свои насмешки можешь оставить при себе. Я здесь комендант и прошу не вмешиваться.

Саломыга взглянул на петушившегося коменданта и захохотал:

– Ха-ха!.. Попович, не надувайся, а то лопнешь. Черт с тобой и с твоими делами, ты лучше скажи, где достать пару бутылок самогонки?

Комендант ухмыльнулся:

– Это можно.

– А этого, – ткнул Саломыга пальцем на бумаги, – если хочешь, чтобы к ногтю прижали, поставь ему вместо шестнадцати лет восемнадцать. Крючок загни вот здесь, а то могут не утвердить.

В кладовой их было трое. Бородатый старик в поношенном кафтане лежал бочком на нарах, подогнув худые ноги в широких полотняных штанах. Его посадили за то, что пропал из его сарая конь постояльца-петлюровца. На полу сидела пожилая женщина с хитрыми, вороватыми глазками, с острым подбородком, самогонщица, по обвинению в краже часов и других ценных вещей. В углу под окном, уложив голову на смятую фуражку, в полузабытьи лежал Корчагин.

В кладовую ввели молодую женщину, в повязанном по-крестьянски цветном платочке, с испуганными большими глазами. Женщина постояла с минуту и села рядом с самогонщицей.

Та, пытливо обследовав новенькую, бросила быстрым говорком:

– Сидишь, девонька?

Не получив ответа, не отставала:

– За что тебя сюда, а? Случай, не по самогонному делу? Крестьянка, встав и посмотрев на назойливую бабу, ответила тихо:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.